

Р32836

ФБи

Л. НИКУЛИН

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА

ПОВЕСТЬ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1944



А.НИКУЛИН

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА

ПОВЕСТЬ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1944

32836

Посмертное письмо

Окно было открыто настежь, и в белой раме окна сиял, пронизанный солнцем и светом, весенний пейзаж Замоскворечья — розовые громады домов, золотые потускневшие главы церквей, нежно-зеленая листва московских двориков.

Так было мирно и тихо за окном, что Андрей Андреевич сам удивлялся своему волниению и неожиданному задору.

— Уж очень беззаботно живете вы, молодежь! Чего только я не видал в ваши годы — война, украинское подполье при немцах, голод и тиф... Не легкая была моя жизнь в твои годы! Странная какая-то наша молодежь; придет тяжелое время — как она еще себя покажет?

Последняя фраза относилась к молодому человеку в трусиках.

Молодой человек сосредоточенно брился и, казалось, щепником был поглощен этим нехитрым делом. Рядом на спине стула висели тщательно выутюженные брюки. Голубая, изумрудного отлива, майка лежала на столе.

— Я в твои годы странствовал в теплицах, караулил военные склады. А вы, Евгений Андреевич, — побрились, умылись, оделись, позвонили Дусе или Люсе и поехали на стадион.

— Воскресенье, отец, — нехотя ответил сын. — Уж не завидно ли тебе?

Как живо помнил Андрей Андреевич Хлебников этот разговор в апреле месяце, в воскресенье, и сына в сетке, стягивающей приглаженные волосы, и комнату, наполненную солнцем и глухим шумом воскресного полдня... Как живо помнил он, что говорили сыну и что отвечал сын, и от этого ему было особенно грустно и горько, сознание неправимой ошибки терзало его.

— Непоправимо, — повторял он вслух, и слезы перехватывали его горло. Все было вокруг, как тогда, в весенний день, — и Москва за окном, и отдаленные звонки трамваев, и шелест щин по асфальту, и он сам в этой большой светлой комнате... И только не было того, к кому он обращался с несправедливыми и злыми словами.

Не было Жени, единственного сына, и на столе лежал белый листок бумаги, в котором было сказано, что его больше нет и не будет.

— Непоправимо, — еще раз произнес Андрей Андреевич и опустил голову на руки, застонал и горько заплакал. Он подумал, что он один в этом городе, что ему даже некому рассказать о своем горе. Александра Петровна, жена, умерла шесть месяцев назад, брат Сергей Андреевич был где-то очень далеко, на Южном фронте. Была еще тетка Евгения, сестра его матери, но он не любил ее за глупость и беспактную болтливость.

Андрей Андреевич лег на диван, потом встал и прошел в маленькую комнату сына. Здесь ему стало так больно и грустно, что он снова заплакал и, вытирая платком слезы, долго глядел на запыленные лыжи, высывающиеся из-за книжного шкафа, на книжки на полке и простой чер-

тежный стол. Он открыл ящик стола, увидел конторскую папку, на которой в углу синим карандашом было написано: «Е. Хлебников». Смузаясь немножко, он развязал шнурки, увидел какие-то перечеркнутые записи, небрежно набросанный план какой-то улицы и двора, несколько записанных на полях номеров телефона и пожелавшее запечатанное письмо.

Андрей Андреевич машинально прочел адрес на конверте и фамилию адресата: С. К. Соснова. Андрей Андреевич вспомнил, что он видел это письмо в руках у сына в день его отъезда на фронт и что сын даже просил у него почтовую марку. Марок не оказалось, и должно быть, в суете он так и не отправил это письмо.

Может быть, следовало бы все же отправить это письмо теперь, когда Жени нет на свете? Или хотя бы вскрыть конверт и прочесть то, что писал сын? Андрей Андреевич почувствовал какую-то неволовкость. Прочитать то, что его сын писал неизвестной ему женщине? Нет, лучше пусть она получит это письмо... и когда-нибудь сама узнает, что человека, который его писал, уже нет. Андрей Андреевич положил письмо в карман и вышел из комнаты.

В подъезде он увидел лифтершу Дашу; обычно она исполняла его поручения, но, вместо того чтобы отдать ей письмо, он сказал:

— Вот один я теперь, совсем один... Навсегда. Даша, видимо, поняла, что он хотел сказать, и покачала головой. Андрей Андреевич вышел на улицу, и Даша, все еще покачивая головой, вспомнила высокого кероглазого молодого человека, который, пренебрегая лифтом, одним духом взбегал на шестой этаж...

Уже не было многих из тех, кого она привыкла видеть за шестнадцать лет жизни в этом старом большом московском доме.

Андрей Андреевич купил марку, наклеил на конверт, пошел к почтовому ящику у трамвайной остановки и вдруг подумал: сын писал это письмо почти два года назад; где может быть теперь, через два года, эта С. К. Соснова, жившая на Остоженке? Может быть, следовало оставить письмо в папке или все-таки вскрыть, прочесть и оставить у себя, как память... А может быть, проще всего отыскать адресата, узнать, в Москве ли эта женщина... Вот еще одна душа, для которой гибель Жени будет грустной вестью. И, не торопясь, Андрей Андреевич побрал на Остоженку.

В городе была все та же воскресная, праздничная тишина. В пустынном переулке возле серебристого тела аэростата воздушного заграждения перекликалась с зенитчиками девушка в военной форме.

Андрей Андреевич напрасно искал дом, который был указан на конверте, в переулке дома под этим номером не было — и вдруг Андрей Андреевич понял, что этого дома уже нет, что на месте его — пустырь и на пустыре, вытянувшись во всю длину, как большая рыба, лежит аэростат воздушного заграждения.

Да, все ясно. Адресата С. К. Соснову он не найдет. Какие-то деревянные домики виднелись позади серебристой рыбы. Может быть, следовало пойти туда и спросить, нет ли там жильцов дома, который разнесла немецкая бомба?

Высокая девушка с притягательными белокурыми волосами и немногим надменным лицом шла прямо за Андрея Андреевича.

— Простите, — сказал он, — уж не здесь ли вы живете? — и он указал на ветхие флигели.

Девушка кивнула головой.

— Вот какой у меня вопрос — уж не здесь ли поселены жильцы дома номер восемь? Самого дома, как я вижу, не существует.

— Кое-кто переселился во флигель. А кто вам чужен?

— Не знали вы случайно гражданину по фамилии Соснова?

Девушка с изумлением посмотрела на Андрея Андреевича.

— Соснова? Это — я.

— Я должен, — сильно волнуясь, начал Андрей Андреевич, — я обязан передать вам письмо Евгения Андреевича Хлебникова.

Странный отблеск мелькнул в глазах девушки — не то удивление, не то радость. Подавляя слезы, Андрей Андреевич говорил:

— Письмо запоздало. Я нашел его случайно. Это письмо человека, которого уже нет на свете. Я отец погибшего Жени.

Девушка протянула руку за письмом. Рука, взявшая конверт, дрожала.

— Вы.. Вы его отец? — она оглянулась. — Пойдите, пойдемте ко мне.. Или нет, — там люди.. Здесь, за углом, в садике — скамья.

Они обошли дом и сели на скамью.

— Простите меня, — я прочту...

Она вскрыла конверт. В письме не было даты. Вероятно, Женя торопился, когда писал.

Всего несколько строк:

«...сегодня уходит наш эшелон. Я хочу сказать, что очень люблю тебя, несмотря на частые наши ссоры. Если придется свидеться, все будет по-дру-

гому. Жалею, что никак не мог повидать тебя в эти три недели. До свиданья, родная. Твой Е.»

— Когда он это писал?

— Почти два года назад.

И она могла дурно подумать об Евгении Хлебникове! Три недели он не приходил к ей и потом уехал. Это случилось после небольшой ссоры, и она решила, что Женя забыл ее. Как дурно она думала о нем! Как ей тяжело. Но старику, отцу Жени, вероятно, еще тяжелее. Ах, если бы можно было вернуть прошлое, если бы увидеть его...

Андрей Андреевич понял, что переживала ее виновка. Он встал и простился. Она записала его адрес и телефон. «Да, его отцу, конечно, хуже, чем мне», — думала Соня Соснова. Ей никуда не хотелось идти. И она вернулась в свою комнату, в мезонине флигеля.

Женя служил в парашютно-десантных войсках. Кто-то говорил ей, что он был ранен в начале войны. Это все, что Соня узнала о Хлебникове. Четырнадцать месяцев полного неведения и затем — эта скорбная весть.

И то, что она узнала о нем сегодня, было тоже случайностью. С ноября 1941 года, после эвакуации завода, она работала на Урале. Завод обосновался в Зауральске, и ее отпустили в Москву на две недели. Надо же было, чтобы на четвертый день пребывания в Москве она получила это посмертное письмо...

Всего год она знала Евгения Хлебникова. У обоих были крутые характеры, они больше спорили, чем нежничали. Ах, да что об этом теперь судить! Это был простой, веселый, честный, милый парень, и она не могла его забыть.

Так она лежала, думала о прошлом и не заме-

тила, что за окном уже струются сумерки. Она встала, взяла свет и подошла к столу. В портфеле лежали несколько снятых «лейкой» любительских фотографий, — она и Женя на водной станции; она, Женя и подруга Леля на дачной террасе в Мамоново... Леля погибла летом 1941 года в бомбоубежище, куда угодила немецкая бомба. И вот теперь Соня временно живет в ее комнате, у матери Лели. Двух, снятых на этой фотографии, уже нет... Она снова легла и забылась в тяжелом полусне. Проснулась с чувством острого горя, и когда открыла глаза, за окном была ночь. В соседней комнате, где было радио, только чтоозвучали последние такты «Интернационала».

Вдруг она услышала странный стук, задребезжало стекло, точно кто-то бросил в окно камешек. Окно было затемнено бумажной шторой, стук был тихой и слабый. Соня погасила свет и подняла штору. За окном были блесковатые, прозрачные сумерки московской летней ночи. Она взглянула на часы: несколько минут первого.

Осторожно, чтобы не разбудить мать Лели, Соня вышла в коридор, сняла тяжелый крюк с двери и спустилась по скрипучей лесенке во двор. Высоко в небе чернел червячок аэростата воздушного зондирования. У ворот стоял грузовик, и вокруг, но торопясь, прохаживалась девушка-боец. Соня обошла флигель, но не увидела ни души. Поежившись от охватившей ее предутренней прохлады, Соня решала вернуться домой. Она поглядела в окно своей комнаты. Нет, ей показалось, никто не потревожил ее сна... И вдруг на земле, под самым окном, она увидела небольшой осколок кирпича. Она сразу заметила его, потому что двор начисто вымели по случаю воскресенья. Она подняла ос-

колок и невольно подумала, что она уже давно вышла из возраста, когда ей таким романтическим способом давали о себе знать друзья — мальчики из 30-й школы, где она учились. Горько улыбнувшись этим мыслям, она вернулась домой.

«Ни пуха, ни пера»

Как это бывало всегда перед вылетом, летчики собирались у входа в столовую. Когда-то здесь был дом отдыха, и у крыльца с колоннами стояли величественные скамейки. Теперь на этих скамейках устраивались летчики перед вылетом. Они были уже в комбинезонах, в шлемах, в меховых чулках, с картами в планшетах. Им было невыносимо жарко, и, глядя на обливавшихся потом летчиков, нельзя было предположить, что через час эта тяжелая одежда будет как нельзя кстати — ведь на высоте шести тысяч метров стоит двадцатиградусный мороз.

Стволы сосен отливали медью, верхушки были неподвижны, ночь обещала быть тихой, безветренной и безоблачной.

Девушки-зенитчицы, девушки из столовой, штабные машинистки собирались, как это было заведено, у крыльца с колоннами. Это были, некоторым образом, символические проводы тех, кто улетал сегодня в ночь на боевую операцию. Никто не подчеркивал этих минут прощания, никто не говорил о том, что они, может быть, видят друг друга в последний раз. Молодые люди смеялись, говорили о самом обыкновенном и будничном, о концерте, который должен был состояться завтра в тот день, в клубе летчиков. Но кто мог знать — увидит ли он опять эту белую колоннаду, эти

сосны, сплетающие ветви над юрышой главного здания бывшего дома отдыха, эту девушку, Люю или Надю... И сколько таких молодых людей, вскоре простились с друзьями и подругами, усаживались в голубой автобус, увозивший их на аэродром, — и никогда больше не возвращались к дому с белой колоннадой.

Аэродром охватывала кайма леса, и у леса, под маскировочными сетями, стояли четырехмоторные тяжелые бомбардировщики, похожие на птиц, находившиеся в ожидании дождя.

Иные из этих птиц сосали горючее из истерн, иные внезапно вздрогивали, сотрясая землю оглушительным грохотом четырех моторов.

Недалеко от бетонной взлетной дорожки стояла вернувшаяся в это утро из боевой операции раненая машина.

Под ее широким крылом стоял человек в шапке-ушанке и накинутой на плечи меховой куртке. Запрокинув голову, он разглядывал пробитую крупнокалиберным пулеметом обшивку самолета. Прозрачный колпак, прикрывавший хвостовую пушку, был разбит, и дуло пушки свесилось вниз, как отпущеный хобот. Человек видел коричневые пятна крови на щитении стрелка. На металлической стесанке у носа бомбардировщика стоял маяр и аккуратно вырисовывал красную звездочку. Это была уже вторая звездочка — знак того, что бомбардировщик в эту ночь сбил еще один вражеский истребитель. Он расплатился с врагом за свои раны.

Человек в ушанке посмотрел на часы и пошел на другой конец поляны, туда, где стояли двухмоторные средние бомбардировщики. Штурман шел ему навстречу. Мимоходом он спросил:

— А не холодно вам будет, товарищ пассажир?

— Не думаю, — ответил пассажир, — я привык.

Уже темнело. Две красных ракеты поднялись над аэродромом. Струя ветра внезапно ударила в лицо пассажира, его оглушил прохлада моторов. Пассажир с легкостью поднялся по лесенке в кабину самолета. Оба летчика, штурман, стрелок-радист сидели уже на своих местах. В ту же минуту бомбардировщик побежал по полю и, так как был не загружен, сразу оторвался от земли и набрал высоту.

Минут через десять самолет уже оставил за собой Москву и взял курс на северо-запад. Пассажир наклонился к стеклу.

Ночь была над страной, теплая, звездная, августовская ночь. Самолет летел на большой высоте, небо казалось черным, как уголь, звезды искрились холодным, мертвенным светом драгоценных камней.

Пассажир надел куртку в рукава и поглядел вниз. Там, точно в глубоком колодце, тускло блеснуло большое лесное озеро.

Голова штурмана почти лежала на чуть светящемся пятне карты. Рука коснулась локтя пассажира и показала ему вправо — там, в непроглядном мраке, искрилась и полыхала лента огней.

«Передовая», — прочел по губам штурмана пассажир. Ослепительный белый луч вдруг возник позади, передвинулся влево, — точно молния блеснула в кабине. Это длилось всего мгновение, но мгновение это казалось бесконечным. Самолет пошел вниз, свет погас, и самолет под прежнему летел в черной бездне, среди мерцающих звезд.

Пассажир ощупал себя, передвинул ближе к животу футляр маузера и стал прикладывать пар-

шютные лямки. Прошло еще минут двадцать. На высоте шести тысяч метров самолет пошел на снижение.

Пассажир встал; он молча глядел, как открывали люк. Он ждал сигнала. Рука штурмана поднялась и опустилась. Ветер со страшной силой ударили в лицо парашютиста. Сначала он падал камнем, потом его сильно рвануло вверху — раскрылся парашют. Взяв в руки два из стропов, он потянул их к себе, и падение замедлилось. Где-то над ним еще слышался монотонный удаляющийся гул моторов.

Штурман самолета глядел вниз, ему казалось, что он видит купол парашюта.

— На пуха, на пуха, — сказал штурман.

Прошло семь минут с тех пор, как парашютист выбросился из самолета, теперь он уже не замедлял падения, и на восьмой минуте, следя за свящающимися стрелками часов на руке, он ясно различил железнодорожную колею и землю, какой-то косогор плыл прямо на него. Парашютист упал боком и, отцепившись от парашюта, встал на ноги.

Вокруг были мрак и тишина. Парашютист понял, что приземлился где-то на насыпи: пощарив руками, он нашел щебень и гравий. И тогда, разстелив парашют, он насыпал в него щебня и крепко завязал узлом. Положив на плечо тяжелый узел, он пошел вдоль насыпи, пока впереди не захлебнулся болотной водой и тиной. Он прошел еще немного вперед и, когда под ногами у него зачавкало болото, сильно размахнулся и бросил в темноту узел. Плеснула вода, узел камнем пошел на дно. Парашютист прислушался, раздвинул руками камни и вышел на сухое место. Несколько секунд он стоял неподвижно, потом пошел вдоль железной дороги.

Так он шел около получаса. Где-то впереди дважды блеснул белый точечный луч. Парашютист до-стал электрический фонарик и два раза нажал кнопку фонаря. Огонь впереди блеснул еще раз, и парашютист опять ответил, затем, не торопясь, пошел в ту сторону, где через каждую минуту вспыхивал и тогасал сигнал.

Игра начинается

На северо-западе от Москвы, за линией фронта, в краю лесов, озер и болот, более года стояли немецкие гарнизоны — войска СС, охранная полиция и полевая жандармерия. Нужно было много солдат, чтобы охранять железную дорогу, мосты, станционные сооружения. Станцию «Плецк» в эту теплую августовскую ночь охраняли с особой бдительностью.

На запасном пути, в тупике, стоял пассажирский немецкий вагон, енаружки почти не отличавшийся от других немецких пассажирских вагонов. Однако внутри этот вагон был отделан с той безвкусной роскошью, на которую была мода перед войной. Глаза резало сверкание никелевых люстр, отраженное в зеркалах жемчужного сияния ламп. Стальные стекла купе были расписаны под золотистый клен. После дождливой ночи, после непроглядной тьмы за стенами вагона два немецких офицера, вошедшие в салон-вагон, остановились, зашмурив глаза: их ослепил электрический свет.

— Полковник Шнапек... Групенфюрер фон Мангейм, — называли они себя, и адъютант проводил их в просторное купе — кабинет хозяина салон-вагона.

У письменного стола сидел немец средних лет с таким неприметным, обыкновенным лицом, какое бывает у служащих бюро путешествий, чиновников «Дейтшебанк», прислужников универсального магазина Вертхейм. Это было круглое, несколько одутловатое лицо, с подстриженными золотистыми усами, бесцветными, как бы вылинявшими глазами, скрытыми за дымчатыми стеклышками пленке. Он был одет в нарядную, но мрачную форму оберштурмбанфюрера — генерала войск СС.

Он указал офицерам на маленький тесный диванчик, и они уселись против него, неподвижные и бессловесные, пока он перелистывал лежавшую перед ним тонкую папку.

— Повидимому, этот человек не молод? — наконец сказал он.

— Пятьдесят семь лет. Тридцать два года тайной службы немецкому государству.

Офицеры отвечали на вопросы по очереди коротко и почтительно, каждый раз делая попытку привстать.

— Это хороший возраст, внушающий доверие. Достаточно ли хорошо этот человек знает русский язык?

— Превосходно. Он родился в Остзейском крае, окончил русскую гимназию и русский политехнический институт. У него хорошие знакомства и связи.

— Состояние здоровья?

— Здоровье хорошее, хотя он пережил сильные потрясения. Болеет малярией.

— Я хочу его видеть.

И оберштурмбанфюрер встал. При первом его движении вскочили с диванчика офицеры. Затем все трое вышли из вагона. Они долго шли вдоль

путей. Впереди, временами мигая, двигались, освещая им путь, белые круги электрических фонарей. Падал теплый дождь, холодные белые лучи освещали то мокрые роллысы, то развалины стационарных зданий, скелеты сгоревших загонов. Вокзал был полуразрушен. В одной из комнат уцелевшей части здания, положив голову на стол, спал человек. Берсерковая лампа тускло освещала лысину в постукирующе седеющих волос.

— Выйдите, господа, — приказал оберштурмбан-фюрер, — и пришлите мне Глогау.

Офицеры вышли. Спящий проснулся и, мигая сонными глазами, смотрел на стоявшего перед ним человека в мокром черном, блестящем от потоков воды, плаще.

— Встать и слушать меня.

Плащ распахнулся. Проснувшийся человек вскочил со стула и, так загипнотизированный, смотрел на траурное шитье мундира, сверкающую эмаль крестов, значков, эмблем, украшавших грудь оберштурмбанфюрера.

— Вы должны ответить на три вопроса. Отвечайте только «да» или «нет». Чувствуете ли вы себя в силах служить немецкому государству так, как это мы потребуем от вас?

— Да.

— Отдадите ли вы вашу жизнь без промедления, если это приносит пользу немецкому делу?

— Да.

— Вручаете ли вы судьбу в руки людей, поставленных над вами немецким государством, и будете ли вы слепо выполнять любое их приказание там, где это будет необходимо?

— Да.

— Если вы измените немецкому делу, вас по-

стигнет мучительная казнь. Если вы исполните
ваш долг, мы осчастливим вас.

Он говорил эти слова в каком-то исступлении,
как бы произнося заклинание.

— Сюда придет человек по имени Глогау. Он
поговорит с вами о деталях. Желаю вам удачи.
Прощайте, господин Головин.

Немец и русские

Комендант города Плецка полковник Рихард
Шнапек смотрел из окна на пустынную базарную
площадь.

Деревья уже пожелтели, осенние облака непод-
вижно стояли над городом.

Мокрые флаги со свастиками висели, как тряп-
ки, на флагштоке старинной крепостной башни.
День был серый и ветреный, с утра накрапывал
дождь. «Лето прошло, — думал Шнапек, — еще одно
лето. Не может быть, чтобы будущим летом я
опять был здесь...»

По площади прошли три солдата — сменялся ка-
раул у комендатуры. Только один из троих шел,
печатая шаг, так полагается солдату, двое других
шли вразвалку, волоча ноги. Вид их огорчил
Шнапека; он перестал глядеть в окно и перенес
взгляд на человека, который стоял перед ним.
Когда-то приличная, одежда на человеке была изо-
рвана, в спутанных русых волосах была солома и
сухие травинки. Он потирал затекшие руки и сто-
ял, слетка пошатываясь. Лицо этого человека бы-
ло когда-то привлекательным, даже красивым, но
теперь он был очень бледен, щебрит, небольшая
опухоль обезобразила его верхнюю губу.

— Ну, Ерофеев, — скучно сказал Рихард Шнапек, — вы и есть Ерофеев?

Человек стоял, опустив голову; он с трудом различал, что говорил этот длиннолицый, худощавый немецкий офицер с лицом, исчерченным шрамами. Голова гудела от удара в затылок, и он не чувствовал своего тела, только боль в тех местах, где были ушибы и синяки. Хорошо, если бы все это скорее кончились.

— Вы известный Ерофеев, — продолжал немец, и человек слышал его голос как сквозь вату, — вы можете сесть — вам трудно стоять, садитесь вон там...

Немец показал на стул. Потом он пощелкал себя карандашом по длинным ногтям и посмотрел на ложащую перед ним бумагу.

— Вы занимали довольно хорошее положение. Многие здесь вас знают. Почему вы не пришли ко мне сразу, когда объявили регистрацию советских работников?

— Не знаю... — ответил тот, кого называли Ерофеевым. — Не все ли равно — тогда или теперь... — продолжал он, с трудом шевеля разбитыми губами. — Разница нет.

— Разница есть, — сказал немец, — тогда бы не было всего этого, — и он показал глазами на опущенные, как плети, руки Ерофеева, на его изорванную одежду.

— Один конец...

— Вы не должны так говорить.

— Я говорю то, что знаю. Были люди, которые приходили на регистрацию, я знал таких людей, и что с ними стало?

— Вы не должны так говорить. Это зависит от людей, которых вы знали.

— Я написал вам, господин комендант, несколько писем, — никто не обратил на них внимания.

— Я прочел ваше последнее письмо — вы имеете хороший слог. Какие у вас были неприятности по службе при советской власти? Вы пишете, что у вас есть основания быть недовольным прежним порядком. Вы пишете, что были под судом. В чем вас обвиняли?

— Это не политическое дело.

— Уголовное?

— Да... Растрата. Но это было в молодости. Перед самой войной выяснилось, что я скрыл свою судимость от прошлого родителем. Мой отец служил в полиции.

— От нас вы можете этого не скрывать. В городе знали об этих ваших неприятностях?

— Нет. Я же говорил — это выяснилось накануне войны, я дал объяснения своему начальнику.

Шнапек взял телефонную трубку.

— Умоляю... — задыхаясь, сказал Ерофеев, — верьте мне — я могу быть полезен, умоляю вас...

Немец продолжал разговор по телефону. Ерофеев немного знал немецкий язык и понял, что речь идет о нем. Но немец говорил кратко и как-то загадочно. Потом положил трубку и сказал:

— Можете отправляться. Вы будете хорошо устроены, — и громким голосом закричал по-немецки: — Herrein!

Вошел фельдфебель и увел Ерофеева. В комнате, которая служила приемной, Ерофеев встретил молодого человека, — он шел на него быстрой и легкой походкой. На молодом человеке были хорошо сшитый спортивный костюм и желтые сапоги с застежками. Гладко выбритое, приятное лицо дышало здоровьем. Молодой человек посторонился.

посмотрел на Ерофеева, как на пустое место, распахнул дверь и вошел в кабинет коменданта.

— А, Сержа, — сказал комендант, и длинное, худое лицо его выразило подобие мрачной улыбки. — Садитесь и возьмите этот журнал, чтобы не скучать, — полюбуйтесь красивыми женщинами.. Я сейчас кончу с делами.

Молодой человек взял журнал в пестрой обложке и сел на диван.

— Ерофеев.. Да, этот Ерофеев! Вы когда-нибудь знали его? — вдруг спросил Шнапек. — Что вы слышали о нем?

— Я вообще новый человек в этих местах.. Я приехал сюда после института и очень мало знал здешних работников. Но я слышал, что Ерофеев серьезный работник, с характером, с головой.

— Это мы посмотрим.. Ну вот и все, садитесь ближе, положите журнал.. Вам понравилась эта красавица?

— Да, понравилась. Кто она?

— Бригитта Хельм — кино-артистка.. Пора вам научиться хотя бы читать по-немецки.

— Времени нет, Рихард Генрихович..

— Однако, где вы пропадали целых четыре дня?

— Все там же, на охоте...

— Вам разрешили только два дня отдыха.. Но почему вы не позвонили вчера?

— Я вчера был просто пьян, Рихард Генрихович. вы извините меня.

— Вы должны просить извинения не у меня, а у фрейлейн Таси, она вас ждала. Вы это помните?

— Нет, — сознался молодой человек. — Я слышал про несчастье с Котловым.. Как это случилось?

— Просто неосторожность. Пьяный ехал на мотоцикле.

— А я думал другое... Это уже четвертый бургомистр.

— Нет, это не то, что вы думаете. После того как был убит знаменитый Разгонов, у нас стало тихо. Вы смотрели людей, которых вам дают для работы?

— Какие это люди — баракло. Их надо в дом отдыха на три месяца — тогда можно дать им лопаты.

— Мы можем дать им дом отдыха навечно, — радуясь собственной остроте, сказал Шнапек. — Нет, без шуток, нужны они вам или нет? Если нет, то и мне они не нужны.

— Ну, уж ладно. Давайте. Сколько их там?

— Четыреста тридцать человек.

— Может быть, вы хотите мне дать Ерофеева?

— Нет, Ерофеев мне нужен самому. Вы это скоро увидите... Теперь — самое главное: вы знаете, что вас хочет видеть генерал?

— Знаю, — как бы вскользь сказал молодой человек, — господин групенфюрер фон Мангейм сам представит меня генералу.

В голосе молодого человека прозвучала ложь гордости.

— Да, молодой человек, вы делаете карьеру, — улыбаясь, сказал Шнапек. — Поздравляю вас от души, Сергей Николаевич... — и комендант Плещка, перегнувшись через стол, благожелательно потрепал молодого человека по щеке.

Так дружелюбно беседовали немец фельдюкомендант Плещка Рихард Шнапек, и русский инженер Сергей Илоземцев. И тому, кто слышал бы эту почти приятельскую беседу со стороны, стало бы совершенно ясно, что русский был нужен немцу и немец был нужен русскому.

«О Плецкове граде от летописания не обретается вспомянуто, от кого создан бысть и которыми людьми...»

Так писал летописец о городе, которым сейчас владели немцы.

«От начала убо русские земли сей град Плецк никоим князем владом бе, ио на своей воли живеху в нем сущие люди...»

Люди, жившие в городе Плецке по своей воле, теперь жили по воле коменданта Плецка Рихарда Шнаппека и труптенфюрера СС Рудольфа фон Мангейм.

И немцы называли этот город Плецкау.

Старый знакомый

У заместителя председателя Совета города Зауральска товарища Костромского шел прием посетителей. Секретарь — немолодая раздражительная женщина с безнадежной грустью смотрела на обитую желтой kleenкой дверь кабинета. В кабинете уже двадцать минут сидел посетитель, о котором она коротко доложила: «Инженер Головин». Фамилия эта не произвела никакого впечатления на товарища Костромского, и секретарша думала, что дело обойдется пятиминутным разговором.

Она была бы изумлена еще более, если бы увидела, что инженер Головин, удобно расположившись в кресле, почти фамильярно говорил товарищу Костромскому:

— Мне и в голову не пришло, что товарищ Костромской — это и есть тот самый студент, который проходил практику у нас, на Новоспасском заводе, пятнадцать лет назад! Нет, вы подумайте!

Заместитель председателя горсовета улыбается;

он был приятно взволнован. Он вспомнил себя молодым двадцатилетним студентом, беззаботным и веселым, не обремененным семьей и обязанностями «лорд-мэра», как шутя называли его в Зауральске.

— Ну и постарели же вы, товарищ Головин...

— Зато вы возмужали, Николай Алексеевич... Как сейчас, вижу вас в Новоспасске, вас и еще четырех удачливых практикантов... «Орлы!» — так вас называл Андрей Андреевич, профессор Хлебников. «За мной, орлы!»

— Андрей Андреевич?.. Вот что, вероятно, постарел! Ведь ему за шестьдесят... Да, не меньше! Вы с ним видитесь?

— К сожалению, — редко. Слыхал, что он потерял сына, — вот какое горе... Тяжело в эти годы. Единственный сын.

— Да, действительно горе... А вы к нам какими судьбами?

— Меня сюда привели печальные обстоятельства.

Тут на лице заместителя председателя горсовета появилось нечто вроде грусти. Он не так давно исполнял свои обязанности, но уже привык к тому, что посчитители жалуются ему на свою беды, досягают невыполнимыми просьбами. Вот и сейчас этот благообразный, приятный в обращении инженер Головин будет о чем-то просить.

«Так, так... — подумал Костромской: — Ну, вот оно...»

— Что ж, может быть, сумеем как-нибудь развеять вашу грусть.

— Нет, помочь мне, к сожалению, невозможно... Цело в том, что я давно ищу каких-нибудь следов моей семьи — жены, дочери и свояченицы. Они в свое время были эвакуированы из Москвы,

а я оставался в Калинине, в связи с эвакуацией завода, и не мог ехать вслед. Мне удалось выяснить только одно — вначале они ехали благополучно, дальше все следы теряются...

— Как же это может быть? — удивился Костромской. — Хотя, впрочем, поезд могли бомбить, в то время это бывало. Схоронили в братской могиле, в документах не разобрались... Время было такое... Сорок первый год.

— Все-таки меня не покидает надежда, — продолжал Головин. — Пока не удостоверюсь в их гибели, пока не найду хоть могилок — не успокоюсь. Вот сидел полтора месяца по вашим краям, объехал не один район. На работе мне пошли на встречу, однако командировка кончается — надо возвращаться.

— А вы где работаете? — из любопытности спросил Костромской.

— Консультантом при научном институте. По специальности я металлург, но сейчас я занят особым делом.

— Каким, коли не секрет?

— Подал проект, касающийся заменителей цветных металлов. Все зависит от Главка, выделена комиссия, жду решения...

— Чем ждать решения, связались бы с солидным заводом. Вот хотя бы наш завод «Первое мая». Вероятно, слыхали? Это — где Бобров.

— Жалко оставлять Москву.

— Москва! Москва людьми богата! Москва с нами делится людьми. Вон сколько у нас осело москвичей и ленинградцев. Почему бы и вам не осесть у нас? Вы не шутите с нами — город у нас не последний за Уралом.

— Я не слишком держусь за Москву, — сказал

Головин, — завод «Первое мая» — серьезнейший завод, продукция его, можно сказать, скоро будет греметь по всему фронту...

— Ну так чего же еще? Хотите, я поговорю с Бобровым? Он мужик крепкий, — попадете ему в руки — не выпустит...

— Видите ли, дорогой Николай Алексеевич, — без особого энтузиазма, но с интересом заговорил Головин, — есть одно обстоятельство, которое заставляет меня серьезно подумать о переезде в ваш город, — в Москве у меня все связано с моей несчастной семьей, все напоминает о моем несчастьи... Это, конечно, отзывается на работе. Здесь, вероятно, мне будет легче работать... Во всяком случае я вам буду очень благодарен, если вы посодействуете...

— Непременно! Непременно! — поднимаясь, сказал Костромской. — А вы мне напомните по телефону или сами зайдите... Хоть завтра.

Они простились. Едва дверь закрылась за Головиным, Костромской протянул руку к телефонной трубке — позвонить Боброву, но задумался... «Серьезный завод, слишком серьезный. Головина я знал пятнадцать лет назад, встречался с ним не так уж часто... Напишу для проверки в Москву, тому же Андрею Андреевичу или в Главк, все-таки надо проверить человека...» Пока он раздумывал, в кабинет рысью вбежал нетерпеливый посетитель в брезентовом пальто, и разговор зашел о трамвайных неурядицах, о троллейбусной линии, которую надо приступить к октябрьским праздникам, — словом, начался обычный день заместителя председателя горсовета.

Однако Головин напомнил о себе. Он наладил дружеские отношения с секретарем Костромско-

го, — прожилая и раздражительная женщина почувствовала некоторую симпатию к ненавязчивому, терпеливому посетителю. Она трижды говорила товарищу Костромской о Головине.

— Да, в самом деле...

Костромской подумал о том, что следовало бы все-таки написать Андрею Андреевичу Хлебникову в Москву и спросить об инженере Головине, которого профессор должен помнить по Новоспасскому заводу.

«Непременно надо ему написать», — решил Костромской, но дни перед пуском троллейбусной линии были горячие и Костромской забыл о Головине.

Между тем Головин пришел в четвертый раз. Костромской почувствовал угрызения совести, принял его и хотел при нем составить телеграмму Андрею Андреевичу.

— Рекомендация Андрея Андреевича будет не лишней, — откровенно сказал он Головину.

— Родной мой, чего же проще — так или иначе мне придется съездить в Москву, уладить дело с Главкомом; заодно привезу письмо Андрея Андреевича. Уверен, что оно мне не откажет.

— Вот и превосходно! — обрадовался Костромской, — Так и сделаем.

И он тут же по телефону соединился с Бобровым и попросил его принять и выслушать инженера Головина. «Солидный инженер?» — спросил Бобров. «Солидный, — ответил Костромской. — Будет рекомендательное письмо Хлебникова».

Бобров назначил Головину день и час приема.

— Спасибо, родной, — сказал, видимо тронутый, Головин, — я как-то уже совсем настроился на пересад в Зауральск.

На следующий день на совещании в обкоме Бобров увидел Костромского и мимоходом сказал ему, что с инженером Головиным он обо всем договорился и Головин выехал на неделю в Москву — оформить свой переход на работу в Зауральск.

Костромской же мог знать тогда о том, что когда-нибудь ему придется горько пожалеть об участии, которое он принял в «солидном инженере» Георгии Головине.

Новый бургомистр

Две реки обтекали скалистый островок, и на этом островке в четырнадцатом веке русские люди построили каменную крепость и назвали ее «Плещеево».

Здесь они упирались от нашествия немецких рыцарей-меченосцев в 1323 году. Восемнадцать дней крепость оборонялась от войск орденмейстера фон Мангейма, восемнадцать дней меченосцы штурмовали, пытаясь сокрушить таранами, ее стены, но в конце концов ушли ни с чем.

Об этом рассказал фельдкомендант Рихарду Шнапеку группенфюрер Рудольф фон Мангейм, когда они в первый раз проезжали мимо развалин дозорной башни. Башня простояла больше шести столетий, выдержала штурм меченосцев и осаду войск польского короля Стефана Батория и была разрушена бомбой немецкого бомбардировщика «Юнкерс-88».

Потомок орденмейстера меченосцев Рудольф фон Мангейм хорошо знал историю этого города. В юности он прочитал о постыдном разгроме армии великого магистра Борнгарда фон дер Борх. Русские разбили рыцарей на Стефановом лугу и гна-

ти их до Риги. «Ни при одном магистре не было такой беды в Ливонии, как при Бернгарде фон дер Борх», — писал немецкий историк, современник разгрома.

Об этом потомок рыцарей-мечносцев, впрочем, старался забыть, потому что считал такие исторические экскурсы бес tactными.

Должно быть, в память о разгроме Рудольф фон Мангейм взял из музея немецкий шлем XV века. Он взял его с собой вместе с современным шлемом, на котором была царапина от осколка мины.

Шнапек просыпал группенфюрера фон Мангейм, его раздражали аристократические замашки этого охотского дворянчика. Шлем немецкого воина, пробитый русским копьем, казался ему чепухой, как, впрочем, и весь столетний хлам, который пришлось выбросить из музея, чтобы разместить там охранную полицию. Кроме того, Шнапек ненавидел фон Мангейма за то, что тот фактически был выше его по положению, выше полковника и фельдкоменданта — только потому, что этот выродок-дворянчик носит форму СС. Впрочем, что-то влекло Шнапека к группенфюреру фон Мангейм. У этого выродка были иногда интересные идеи: это он, например, нашел молодого русского инженера, Сергея Илоземцева, строившего дороги в этих гибельных местах. Его идея была — вытащить из лагеря Ерофеева.

Ерофеев сидел против Шнапека. Он был мало похож на истерзанного, полумертвого человека, который, качаясь, стоял перед Шнапеком две недели назад. Опухоль над верхней губой исчезла, синяки на лице стали почти незаметны. Ерофеева побрили и подстригли, одели в приличный костюм.

— Ну, вы довольны обращением с вами? — спросил его Шнапек.

— Покорно благодарю, — ответил Ерофеев.

— Вы чувствуете себя в силах начать работать?

— Зависит от того, какая это будет работа.

— Не беспокойтесь, вы же будете копать землю.

— Я не беспокоюсь.

Шнапек поднял на него зеленоватые тусклые глаза.

— Вы слишком много разговариваете, Ерофеев, вы очень скоро забыли, что было с вами две недели назад.

Шнапек угрожающе оглянулся на телефон и с удовольствием заметил, как побледнел Ерофеев.

— Вы в самом деле думаете, что мы стали относиться к вам по-иному в знак доброго к вам расположения?

— Нет, я этого не думаю, — произнес Ерофеев и добавил совсем робко: — ...я думаю, что могу быть полезен...

— Да. Вы нам нужны. Вернее, вы нужны не нам, а вашим соотечественникам.

Эти слова произнес чей-то томный, бархатный голос.

Только сейчас Ерофеев заметил, что в кресле у камина, вытянув ноги к огню, сидит круглолицый женственный блондин в форме офицера СС. Его почти не было видно за высокой спинкой кресла.

— Господин Ерофеев, — твердо сказал Шнапек, — мы сделаем вас бургомистром, председателем управы, главным над городом и шестью селами и одиннадцатью деревнями, с резиденцией в городе Плецк. Вы будете иметь под своим начальством шестьдесят тысяч людей. Вы будете управлять обшир-

ной территорией, и в этом районе все живое — люди и скот будут подчинены вам. При Советах вы были жалкий агроном, а мы сделаем вас государственным лицом. На этой территории будет еще один человек, еще один русский, которому вы должны помогать, — Иноzemцев. Вам что-нибудь говорит это имя?

Ерофеев официательно покачал головой.

— Это инженер, большой знаток дорожного строительства, несмотря на свою молодость, он очень хорошо показал себя, он умеет работать с русскими... Есть что-нибудь неясное для вас?

— Нет, мне все ясно. Я благодарю вас за доверие... Я тронут тем, что вы доверяете мне, после того, что я пережил.

— Послушайте, — сказал Шнапек, — я знаю людей, которые перенесли худшие вещи, чем вы, а теперь они носят форму офицеров германской армии и пожимают руки тем людям, которые не совсем деликатно обращались с ними... в лагере Дахау, например... Значит, в вас что-то есть, если мы вытащили вас из лагеря... И если вы обманете нас или окажетесь негодным человеком — вы понимаете сами, что вас ожидает...

Ерофеев вздохнул, пот выступил у него на лбу. Он представил себе измученных, голодных людей, раздирающих руками лошадиные внутренности, он вспомнил еррейтора с фотографическим аппаратом, аккордеоном и автоматом и колючую проволоку, — проволоку, которая чудилась ему и теперь всюду, куда ступала его нога, он вспомнил, что было три месяца, изо дня в день.

— Клянусь вам... Буду самой верной собакой... — сказал он.

Полезные знакомства

Георгий Иванович Головин быстро утравился с делами в Москве. В Главке его не удерживали, он сумел при случае намекнуть, что в нем заинтересован сам Бобров, уж он-то сумеет добиться перевода Гостевина на завод «Первое мая». Таким образом, Головин в четыре дня оформил свой перевод на работу в Зауральск.

Незадолго до отъезда он решил повидать профессора Хлебникова.

Наслать Андрея Андреевича было не легко. Он старался возвращаться из института возможно позднее. Правда, он понемногу привык к одиночеству, но сознание того, что он один до конца дней, угнетающее действовало на старика.

Накануне воскресенья он вернулся в восьмом часу, прошел в маленькую кухонку и зажег газ. Лифтерша Даша позабочилась о нем — он нашел в условленном месте хлеб и занялся за хозяйственными делами. Тут послышался короткий звонок, и профессор поспешил открыть дверь.

Перед ним стоял пожилой человек в пенсне. Лицо его было чем-то знакомо Андрею Андреевичу.

— Не узнаете? — сказал гость. — Ну, не мудрено. Помните, в Новоспасское? А в последний раз виделись в Доме ученых...

— Ах, постоди! — смутившись, воскликнул Андрей Андреевич. — Ну, конечно! Еще рядом сидели на весенней конференции. Конечно, помню.

— Уж вы простите, ради бога, я без звонка... звонил, но телефон не отзывается...

Они прошли в кабинет, и Андрей Андреевич, несмотря на протесты гостя, стал хлопотать о чае. Он любил, когда к нему приходили старые знакомые, особенно теперь, когда он совсем одинок.

— Слышал о вашем горе, — продолжал гость, — могу сочувствовать вам в полной мере, — и он рассказал Андрею Андреевичу о том, как бесследно исчезли близкие ему люди — дочь, жена, своячница.

Потом разговор зашел о более отрадных вещах, гость рассказал Андрею Андреевичу об общем их знакомом, товарище Костромском, «лорд-мэре» города Зауральска.

— А вы что же, зауральский житель? — поинтересовался Андрей Андреевич.

— В ближайшие дни перееду в Зауральск... Предлагают интересную работу.

Гость поднялся со стула и подошел к письменному столу. Несколько секунд он внимательно рассматривал фотографию молодого человека в майке футболиста, он догадался, что это был сын Андрея Андреевича, и сочувственно вздохнул.

— Должен вам признаться, Андрей Андреевич, что я к вам по небольшому делу. Не откажите в любезности черкнуть пару слов насчет того, что вы знали меня по работе. Ваше письмоцо дорого стоит, а я еду, так сказать, на чужбину...

— Охотно... Охотно, — сказал Андрей Андреевич и присел к письменному столу.

— Хотя я не могу в полном смысле считать себя вашим учеником, кончил я у Розена, но духовно я себя таковым считаю... Работа меня ожидает весьма интересная...

Но прежде чем Головин рассказал, о какой именно работе идет речь, послышался звонок, на этот раз еще более удививший Андрея Андреевича. Он отворил дверь и даже вздрогнул от неожиданности. На пороге стояла Соня. Софья Кирилловна Соснова.

— Не ждали? — спросила Соня.

— Помилуйте, что вы, что вы?.. — Андрей Андреевич помог ей снять пальто и, окончательно взбодрившийся, проводил ее в кабинет, познакомил с гостем и сел против нее, глядя на нее тепло и отечески с вызовом опущенные роговые очки. — Мы тогда счастли и не поговорили как следует... Я был под впечатлением моего несчастья и даже не поблагодарил вас за сочувствие.

— Это было наше общее горе, — тихо сказала Соня.

Головин из разговора понял, что эта девушка и какое она имела отношение к умершему сыну Андрея Андреевича. Сначала он тактично молчал, потом разговор стал общим и попринужденным, заговорили о Москве.

— Москва мне показалась какой-то чужой, не прежней, — сказал Головин.

— Больше года меня не было здесь, и до сих пор хожу по улицам и переулкам с каким-то особым волнением, и жалко уезжать... — задумчиво сказала Соня.

— А вы разве не москвичка? — спросил Головин.

— Коренная москвичка. В эвакуацию в ноябре сорок первого года пришлось уехать с эваком, и вот теперь здесь, в отпуску.

Когда стало известно, что Соня работает в том же Зауральске, куда собрался переехать Головин, он очень порадовался этому обстоятельству.

— Вы не инженер ли? Вот было бы приятно встретить коллегу.

— О, нет... Я по другой части: я — библиотечный работник, работаю в районном Дворце культуры.

— Ну, как же, знаю! — восхитился Головин. — Чудесное здание, поблизости от нашего завода...

- Какого именно?
- Завода «Первое мая».
- Того самого? — уважительно произнесла Соня.
- Того самого.
- Знаменитый завод.
- Еще бы! Ну вот, оказывается, мы с вами будущие земляки, будущие уральцы.

И Головин стал рассказывать о старом Урале, о горных озерах, заповедных лесах, старинных горных приспах, — он хорошо знал Урал по длительным поездкам в давние времена.

Что-то в Головине показалось приятным Соне, может быть, несколько старомодная вежливость и предупредительность. Он предложил ей свои услуги, — ему же составит никакого труда достать Соне железнодорожный билет. Может быть, ему даже удастся выехать с ней в один день. Она с удовольствием подумала о том, что у нее будет попутчик — многое видевший и многое знающий человек.

Они пробыли у Андрея Андреевича до одиннадцати часов и вышли вместе. Москва уже затихала, близилась полночь. Они успели поговорить об Андрее Андреевиче, и Головин выразил особое удовольствие, что они познакомились в доме такого выдающегося ученого и хорошего человека. Затем они простился. В бумажнике Головина лежало рекомендательное письмо Андрея Андреевича. Пока Хлебников писал, Головин скромно глядел по сторонам. Он взял из рук профессора письмо и, не прочитав, положил в бумажник. Но теперь, расставшись с Соней, он с юношеской ревностью сбежал по лестнице и возле кассы метро вынул из бумажника письмо и прочитал то, что о нем написал Андрей Андреевич.

«Инженер Георгий Иванович Головин известен мне по работе в 1927, 1929 годах на Новоспасском заводе и в Москве...» — писал Хлебников. Дальше Головин не стал читать и спрятал письмо в бумагник.

— В тысяча девятьсот двадцать седьмом и тысяча девятьсот двадцать девятом годах... — произнес он вслух и странно усмехнулся. — Ну, что ж, скучо, скучо... но и на том спасибо...

«Ради этого стоило потерять вечер, — думал он, — притом знакомство с красивой девицей тоже может оказаться приятным и полезным. Вообще я не потерял в Москве времени даром».

«Иван Грозный»

Артиллерийский полигон в Зауральске находился километрах в двадцати от города, но в первую военную зиму, после того как в Зауральск эвакуировали с запада большие заводы и целые армии рабочих, инженеров и техников, город разросся. Как из-под земли выросли новые поселки — тысячи землянок и бараков. И теперь вышло так, что только семь-восемь километров отделяли гравые поселки от полигона. К орудийной канонаде жители привыкли и даже удивлялись, когда их шумные соседи — артиллеристы иной донь не стреляли из пушек.

В одно сентябрьское утро на выжженной солнцем траве полигона лежали младшие командиры — артиллеристы, покуривали, пошутивали над одним из своих товарищей, сочиняющим тут же чувствительное письмо девушке. Немного поодаль, вблизи странной машины, прикрытой брезентовым чехлом,

прогуливались майор инженерных войск Юрченко и пожилой человек в белой косоворотке, Борис Штейн — главный инженер завода «Первое мая».

— Волнуетесь за «Ванюшу», товарищ майор? — спросил Штейн.

— Волнуюсь. Да и вы тоже волнуетесь.

И майор поглядел на Штейна с дружеской теплотой, — он знал, что главный инженер не спал уже третий сутки и старался сохранить спокойствие и бодрость накануне испытания нового артиллерийского снаряда.

— Едут! — услыхали они голоса позади и, повернувшись, увидели на дороге в облаках пыли три ЗИСа.

Автомобили повернули к полигону и остановились метрах в пятидесяти от покрытой брезентовым чехлом стражной машины. Штейн и Юрченко пошли на встречу трём людям, приехавшим в поместительном ЗИСе, — генерал-майору, полковнику артиллеристу и живому, веселому блондину в белом кэпе. Это был Бобров, директор завода «Первое мая».

Майор Юрченко стоял «смирно», держа руку под козырек.

— Вы не есть изобретатель «Ванюши»? — спросил, пощипывая руку Юрченко, артиллерийский полковник с двумя орденами Ленина на груди.

— Вид у вашего «Ванюши» самый мирный, — заметил, приближаясь к покрытой чехлом машине, генерал-майор.

— С первого взгляда — не то экскаватор, не то зольскохозяйственное орудие.

— Все дело, конечно, в снарядах.

И все направились к лежавшим на траве продолговатым предметам.

— Борис Абрамович, был у тебя Головин? — на ходу спросил главного инженера Бобров.

— Был, накануне отъезда.

— Это о ком речь? — поинтересовался генерал.

— Есть такой инженер Головин. Будем делать с ним опыты замены щелочных металлов.

Пока они толковали, подоспал майор Юрченко и попросил всех спуститься в укрытие. «На случай нежелательного эффекта, при отдаче», — как он выразился.

— Бородатого боя бояржет, — усмехнулся Бобров и заодно приказал поставить подальше автомобили.

— Ну-с, разрешите приступить? — волнуясь, спросил Штейн.

Артиллеристы, тоже, видимо, волнуясь перед испытанием, начали снимать чехлы с машины.

...В седьмом часу утра мастер завода «Первое мая» Бупров, живший поблизости полигона и спавший в эту ночь на свежем воздухе, в садочке, проснулся от сильного колебания воздуха и оглушительного гула. Звук был настолько сильный, что даже пригынувший к артиллерийской канонаде на полигоне Бупров проснулся.

— Вот это пушечка... — спросонья проворчал он.

Вырочем, время было вставать, и он не рассердился на этот необычайно сильный, разбудивший его звук...

Тем временем, у того моста, где был построен опытный дот, стояли члены комиссии и в изумлении смотрели в глубокую дымящуюся воронку в том месте, где раньше находился дот.

— Вот вам и «Ванюша», — покачивая головой, сказал генерал, — с одного снаряда разбить такую машину... Серьезный подарочек немцам.

— Это не «Ванюша», — с радостным волнением произнес Бобров, — это большой Иван, «Иван Грозный», вот что это такое!

Легкомысленный попутчик

В назначенный день Соня оставляла Москву, уже несколько соскучившись по далекому уральскому городу и светлому тихому залу читальни во Дворце культуры. Головин действительно позаботился о Соне и достал ей билет (у них оказались рядом нижние места) и трогательно ждал ее у входа в вокзал. Все это было очень приятно Соне.

Андрей Андреевич пришел проводить ее, и, простившись с ним, она точно простилась с Женей. Более чем когда-нибудь она почувствовала утрату любимого человека.

Тронулся поезд, она молча глядела в окно, где мелькали подмосковные дачи, пустынные деревянные платформы, такие оживленные и шумные в мирные дни.

Сначала Головин ничем не тревожил свою спутницу, потом он решил, что молчать невежливо, и стал развлекать Соню довольно гривыми рассказами о старом времени, о красавицах, которых ему довелось увидать...

— В Виши (есть, моя милая, такой французский курорт) мне довелось своими глазами повидать Клео де Мерод, была такая всемирная красавица, состояла при особе белгийского короля Леопольда, бабника, я вам доложу, сверхъестественного. Давно это было, теперь эта дама, я полагаю, старуха (если жива), но в те времена была хороша... Представьте себе — прическа в то время была у модниц — а ла Клео де Мерод, вроде наф у вас, за-

крыгвающая ушки... Про эту дамочку говорили, будто некий пылкий любовник в порыве страсти откусил у нее ушко, вот почему она и закрывала их.. Вы меня слушаете, деточка?

Георгий Иванович положил руку на локоть Сони. Соня рассеянно глядела в окно. Стемнело. Головин включил свет и плотно задернул занавески. Гудел и грохотал поезд, дремали на верхних полках два молчаливых пассажира, и как-то очень уютно жужжал над самым ухом негромкий голос Георгия Ивановича. Он достал из чемодана бутылку вина и закуску, аккуратно, даже не без изящества, расположил все это на столике. Соня почти машинально вытила, Головин сидел с ней рядом и продолжал жужжать негромким выразительным голоском:

— Вот гляжу я на вас — хороша, спору нет, и брови дугой, и румянец, и головка отлично пожажена.. Эх, кабы вам придать немножко жизни, одеть в такое легкое платье с вырезом, причесать по-модному и жемчуга в ушки — была бы прелест! Ведь жить-то хочется? Правда? Ну, вот, мне за пятьдесят — и мне жить хочется, а вам, небось, и того пуще... Ведь правда?

Соня улыбнулась, так ей показалось странно то, что говорил ей этот размякший от вина пожилой человек.

— Вы бывали в Париже? Расскажите мне о нем. Но Головин, оказывается, в Париже не был, но бывал в Монте-Карло, жил на Ривьере. Он рассказывал о карнавале в Ницце, о рулетке с таким огнем в глазах, что нельзя было в нем не угадать азартного игрока, — в прошлом, разумеется.

— Ну, как в гостях ни хорошо, а русского человека всегда домой тянет...

Они проговорили до трех часов ночи. Соседи им

не мешали, на дворе мирно спали угомонившиеся
после московской суеты коммандировочные, в со-
седнем купе резались в козла, оттуда слышался
стук котяшек, вздохи отчаянья и восклицанья
восторга...

Так прошли первые сутки путешествия. На вто-
рой вечер Головин, присев рядом с Соней, вдруг
заявил ей:

— Вот что я скажу вам, Софьюшка, — уж поз-
вольте мне так вас называть, — ничего у вас не по-
лучилось с сыном Андрея Андреевича, а жить-то
весь хочется.. Я по глазам видел, когда вы меня
про Парник спрашивали, а приедете в Зауральск —
опять сиди в библиотеке среди пыльных книжек и
газет, потом возвращайся в холодную комнатку,
топи печку, разогревай кашу, пей кипяток без са-
хара.. Знаете что — поезжайте-ка с вокзала прямо
ко мне — и все!

— В качестве кого? — спросила Соня.

Головин отодвинулся и но без удивления взгля-
нул на нес.

— Ну, в качестве... родственницы, что ли... Семьи
у меня теперь нет, вот я и привез из Москвы даль-
нюю родственницу — хозяинку. Устроят меня хо-
рошо, будут всякие блага, все-таки я работник со-
лидный, отношение ко мне соответственное.. Что
вы на это скажете? Сейчас я совсем одинок, або-
лютно одинок, и так, по человечеству говоря, хо-
чется о ком-то заботиться, думать о ком-то, — он
взял руку Сони в свои руки. — Ну, серьезно, ре-
шайте, — может, не сейчас решите, а завтра.. нам
еще две суток ехать. Вы — молодая девушка,
серьезе у вас как восток, в хороших руках вы будете
чудным существом... Решайте сейчас, знаете что?
Именно сейчас, сразу! А чтобы это выглядело

благопристойно в глазах людей, я буду говорить всем, что вы моя свояченица...

— Георгий Иванович, — с грустью сказала Соня, — если вы хотите, чтобы я относилась к вам дружески, никогда не говорите со мной так, как вы говорили сейчас.

Русский и немцы

Группенфюрер фон Мангейм действительно представил Иноземцева генералу, но обстановка, в которой происходила эта церемония, показалась Иноземцеву странной.

В гостинице «Версаль», где жил генерал Иноземцев и фон Мангейма встретил полковник Шнапек. Адъютант проводил всех троих к генералу. Это не был генерал Пильхай, который ведал постройкой дорог и мостов, а какой-то незнакомый Иноземцеву генерал в мундире войск СС.

Генерал приказал фон Мангейму и Шнапеку сесть, Иноземцев остался стоять. Он понял, что разговор будет серьезный.

— Он знает немецкий язык? — спросил генерал.

— Абсолютно не знает, — доложил фон Мангейм.

— В таком случае вам придется быть переводчиком.

«Почему именно я должен быть переводчиком? — подумал фон Мангейм. — Шнапек говорит по-русски не хуже меня», — и пришел в ярость. Он понял, что присутствующий здесь Шнапек осуществлял своего рода контроль над ним, офицером СС. Впрочем, фон Мангейм ничем не выдал своих чувств.

Иноземцев стоял, переминаясь с ноги на ногу. Вид у него был удивленный и немножко сконфуженный.

— Спросите у этого человека, — начал генерал, — почему в разгар работы он уехал на четыре дня. Где он был все это время?

Фон Мангейм перевел Иноzemцеву вопрос генерала.

— Я был на охоте, — спокойно ответил Иноzemцев, — я получил разрешение господина группенфюрера.

— Вам дали разрешение уехать только на сорок восемь часов, — продолжал переводить вопросы генерала фон Мангейм.

— Это правда. Но я очень заядлый охотник и забрался глубоко в лес. Мне не хотелось вернуться с охоты с пустыми руками.

— Вы должны забыть русские привычки — лень и неточность... Кроме того, вы находились в лесу слишком долго... Ваши объяснения меня не у说服оряют. Насколько мне известно, в лесу водятся не одни только лоси, но и волки. Я говорю о двуногих волках, о партизанах... — бесстрастно переводил слова генерала фон Мангейм.

— После того, как покончили с Разгоновым, в лесу стало безопасно, — ответил пристодушино Иноzemцев.

— Может быть, для вас... Мне кажется, что вы чувствуете себя слишком безопасно в лесу. Я не уверен в том, что вы достаточно благодарны нам за то, что мы для вас сделали, — перевел Мангейм.

Вероятно, Иноzemцев понял, что разговор принимает характер допроса, и с некоторым волнением сказал:

— Я работаю, господин генерал, меня хвалили за мою работу.

Фон Мангейм точно перевел этот ответ Иноземцева и вдруг, как бы продолжая перевод, добавил:

— А если я вам не угоден, то я могу вообще не работать, не забывайте этого, господа.

Фон Мангейм произнес фразу, которую не говорил Иноземцев. Такая фраза в устах русского могла стоить ему головы. И трое немцев — генерал, фон Мангейм и Шнапек, не сводя глаз с Иноземцева, следили за выражением его лица. Но лицо Иноземцева попрежнему выражало благожелательность и почтительность.

— Я хочу знать, — резко сказал генерал, — я хочу знать, как вы относитесь к нам, к немцам, к немецкому народу, к немецкой армии, каковы ваши истинные чувства. Отвечайте искренно... Переведите ему!

— Мои чувства к немецкому народу? — спокойно отвечал Иноземцев. — Немецкий народ — великий народ, немецкая армия — промадная сила, я многому научился с тех пор, как работал у вас... Вот все, что я могу сказать.

— Все? — переспросил Мангейм. На этот раз, приступив к переводу, он совершенно исказил смысл ответа Иноземцева:

— Немецкий народ, — переводил фон Мангейм, — жестокий, суровый народ, германская армия грубо обращается с нами, русскими, — как же я могу хорошо относиться к вам, господа?

Снова три немца пытливо вглядывались в лицо Иноземцева. Но никакая тень не затемнила его открытого, простодушного лица. Нет, этот человек не понимал ни слова по-немецки.

— Нет, он ни слова не понимает по-немецки, — произнес генерал, когда Иноземцев закрыл за собой дверь, — ни один знающий наш язык и

скрывающий это человек не выдержал бы такого испытания. Как вы думаете, полковник?

— Возможно, он не говорит по-немецки, но тогда откуда русским известно многое из того, о чем я говорил доверительно с группенфюрером?

— Я мог бы сказать то же самое о ваших разговорах с другими. Так или иначе — ваши подозрения остаются пока только подозрениями. И этот человек нам нужен. Если вас раздражает его самоуверенный тон, я сумею сбить с него спесь и сделаю это без излишней грубости, — сказал фон Мангейм.

— Всобще я не верю русским, это мое правило, — вызывающе заговорил полковник Шнапек, — не верю никому из них, кроме тех, которые собственными руками или как-нибудь иначе убивали своих соотечественников. Этих ненавидят — и волей-неволей они должны служить нам. Что касается этого человека...

— Я позволю себе перебить вас, полковник... А Тася Пискарева?

— Тася Пискарева имеет особые заслуги. Она выдала нам Разгонова.

— Очень хорошо, но вы же сами сказали, что каждая мысль Иноземцева известна Тасе Пискаревой и до тех пор, пока он ее любовник, вы ее знаете о нем. Тогда к чему же была сегодняшняя комедия?

— Липшия проверка не мешает. Но в общем, пока возле Иноземцева Тася Пискарева, я склонен верить Иноземцеву.

— Наконец! — вот это я и хотел услышать от вас, господин полковник.

— У цезарей бывали любимцы — болыноотпущенники, — усмехаясь, заметил генерал, — вы, мой

друг Мангейм, не Наров, и пусть это не будет
еаш Тигелин. Кроме этого русского, я не вижу
человека, которому можно поручить важное дело.

Он подошел к рельефной карте, на которую бы-
ли нарисованы леса, озера, болота этой гиблой
земли.

— Видите ли, гостюда, здесь должна проходить
дорога, — в этих ужасных местах, где нельзя рыть
окопы, где блиндажи надо строить на сваях и со-
единять их мостками. Вы не хуже меня знаете
эти места.

— Приблизительно.

— Я воевал здесь год и потерял лучших ог-
рей. Лучший полк вместе с командиром полка и
офицерами лежит на верхнем кладбище в городе
Плещке. И погибли они только потому, что здесь
от сотворения мира не было сносных дорог. Этот
русский умеет строить дороги в болотах, а нали
дорогой полковник Гунст не умеет, в этом мы
убедились на собственных боках. Через месяц у
нас будет неизвестная противнику дорога, по ко-
торой можно пропустить три армии. И это сделает
наш молодой русский и люди, которых он умеет
заставить работать без штрафов и виселиц. А вам,
я вижу, хочется поскорее сломать ему хребет. В
конце концов это не поздно будет сделать, когда
он построит дорогу. Судьба города Плещка, судь-
ба этого участка фронта зависит от дороги, кото-
рую построит нали «вольноотпущенник»... Поэтому
будьте с ним ласковы. Но так ли?

Фон Мангейм вышел из кабинета генерала и
увидел Илюзимова, со скучающим лицом сидящего
у стены, на диване.

— Я заставил вас ждать, — сказал фон Ман-
гейм, — генерал — мой старый знакомый, и он не

мог отказать себе в удовольствии поговорить с вашими общими друзьями... Я очень рад, что вы оказались нам полезны, вы можете сделать большую карьеру.

— Я об этом не думаю, я все же честолюбив, — ответил Иноzemцев с обычной своей небрежной манерой.

— Какие же у вас страсти?

— Женщины, — немного подумав, сказал Иноzemцев, и фон Мангейм не мог не улыбнуться.

— Это, при вашей наружности и здоровье, довольно доступные для вас удовольствия.

Разговор продолжался уже в автомобиле.

— Поймите меня, — продолжал Иноzemцев, — двадцать двух лет я учился, сдавал экзамены, ездил на практику. Потом — война, потом работа в этой дыре, грязная и хлопотливая работа... Когда вырвешься в воскресенье в город, вроде Плецка, — и вдруг увидишь женщин, ваших женщин, ну, вроде фрейлейн Мицци, которая неделю назад приехала из Вены, когда пьешь шампанское, настоящее французское шампанское — понимаешь, что такая жизнь! Хороша была жизнь до войны, господин фон Мангейм.

— Прелестна! — воскликнул Мангейм, но вдруг, спохватившись, добавил: — Однако, это была не настоящая жизнь для мужчины, для воина. Обычно я проводил зимние месяцы в Санкт-Морице — фешенебельный отель, элегантные женщины, зимний спорт... Вам все это непонятно.

— Почему? Я много читал, я видел интересные фильмы, господин Шнайдер разрешил мне посещать казино...

— О, юноша, как вы мало знаете жизнь! — и Мангейм похлопал Иноzemцева по плечу. — Вы.

слушайте мой совет: вы росли в условиях, где человек считался равным человеку, где подчиненный не преклонялся перед своим начальником, — и это вам очень вредит, мало того — это опасно для вашей карьеры и даже жизни. «Человек не равен человеку, душа не равна душе» — это слова моего великого земляка Альфреда Розенберг. То, что вы считаете естественной манерой разговора, когда вы говорите со мной или с полковником Шнапеком, — на самом деле есть наглость и грусть варвара! Вы меня понимаете? Вы слышали, как я, человек чистейшей крови и расы, потомок ливонских рыцарей и прападчук орденмейстера, говорю с генералом? Вы чувствуете, как я сознательно ставлю себя ниже его? И вы должны знать, что вот этот вестфалец, который сидит за рулем, который ничего другого не умеет делать, кроме того, как вертеть руль машины, — выше вас, умеющего как никого другой строить дороги в болотах... Он выше вас потому, что он немец, потому, что он из расы господ. Вот и все. Когда вы поймете это, жизнь ваша станет простой, приятной и, главное, безопасной. Вы меня поняли?

— Понял. Благодарю вас, — почти беззвучно произнес Иноzemцев.

— И потом — учитесь немецкому языку, учитесь языку победителей.

И Мангейм снова попретал его по плечу. Он чувствовал нечто вроде симпатии к этому северному варвару.

Две тысячи пятьсот километров к востоку

Две с половиной тысячи километров к востоку люди жили и работали по собственной воле, и на заводе «Первое мая», точно так же как на других заводах, все делалось без принуждения, споров и оныников.

Главный инженер цеха собирал вокруг себя мастеров и говорил им: «Получается так — месяц копчается, остается каких-нибудь восемь дней, а у нас шестьдесят процентов плана. Дафайтс постараемся, сделаем, а то ведь стыдно...»

Он не говорил при слова о том, что в цех под литерой «К» — замыканий цех, что идет зима, что на фронте ждут снарядов огромной разрушительной силы, снарядов, которые поднимают на воздух блиндажи с семью перекрытиями и разбивают вдребезги бетонные и стальные колпаки дотов. Он не произносил митинговых речей, вообще гладкий инженер не упоминал даже слова «фронт». Все было и так понятно. Мастера расходились и говорили — где-нибудь около щита с показателями работы за неделю — девушкам и несовершеннолетним паренькам: «Всем семь деньков осталось, надо подтягивать, а то опять, так два месяца назад, скажут: «Цех «К» держит весь завод».

И этого было достаточно, чтобы девушки и парни — стахановцы и стахановки по двое, по трое суток не выходили из цеха.

И к концу месяца заводская многогиражка сообщала: «Цех, где начальником товарищ Орлов, закончил месячную программу вчера в полчаса часов тридцать минут, на 26 часов раньше срока».

Все это казалось здесь обычным, как и то, что завод «Первое мая» был образцовым заводом, хо-

ти шесть месяцев назад он не выполнял плана и впервые приступил к выпуску знаменитых снарядов, которые на фронте называли «Иван Грозный».

Георгий Иванович Головин был новым человеком на заводе, лабораторию его устроили на отлете, в помещении старых заводских складов. Однако он не мог жаловаться, на отсутствие внимания к себе. За эти три дня дважды его навещал директор завода Бобров, главный инженер Штейц — старый москвич, знавший по фамилиям многих старых, солидных инженеров. Бобров сразу понял, что Головин дело понимает, что работа его обещает большую пользу заводу, приказал не слишком торопить Головина и дать ему по возможности все, что просит.

Головин был немного недоволен тем, что ему придется уйти из лаборатории. Его просят зайти инспектор по кадрам Шорин. Шорина Головин до этого дня не видел, по рассказам Шорин был болезненный, дважды раненный человек. Оформление Головина на заводе произошло в день, когда Шорин болел.

Шорин оказался подвижным рыжеволосым молодым человеком с умными, живыми глазами и тонким, немного длинным носом, кончик которого задрагивал, когда какое-нибудь обстоятельство волновало Шорина.

— Ну, вот наконец, наконец познакомимся, — благожелательно сказал он и посадил Головина рядом с собой на диван, — а то, можно сказать, работает у нас на заводе новый инженер, солидный инженер, а я его и в глаза не видел.

Головин поблагодарил Шорина за «солидного инженера».

— А как же? Письмо Хлебникова, затем вашу анкету я читал с интересом. Читал и удивлялся, — вот стаж! Вы у Густава Листа тоже работали?

— У кого? У Густава Листа? Никогда не работал.

— Должен вам сказать, вы задумали полезное дело, но мне всегда казалось, что заменители цветных металлов прежде всего нужны в авиастроении... У нас на заводе это тоже, конечно, важно, но на авиационном заводе такому как вы, цены нету.

— Я и сам так думал, в Москве все было налажено, чтобы я устроился у Владимирацева, но я сам не хотел таких масштабов...

— Пацать — так с большой колокольни!

— Нет, уж я предпочитаю свалиться с маленькой, хоть цел останешься... Нет, кроме шуток, наш завод, — я говорю уже «наш», — ничуть не маленькая колокольня, во всяком случае звон вашей колокольни слышен на всех фронтах... Так что — не прибдняйтесь.

— Я где прибдняюсь, что вы... Кстати, по части заменителей наши врачи — ловкачи. И то, что вы целиком отдались этому делу, умно и благородно с вашей стороны.

— А что я — не русский человек, что ли? Подумайте — такая война...

Время шло, разговор затягивался, но собеседники не замечали времени, пока Головин не взглянул на часы.

— Ну, а как в смысле бытовых условий вы устроились, Георгий Иванович?

Головин ответил, что с этим пока трудновато, комната мала, холодно, но все устроится, жилье

исчезает. А пока приходится работать в читальне Дворца культуры.

— В общем — все устроено. Пропуск на завод получил, удостоверение тоже...

— И в цех «К» получили?

— Так точно... Разовый. По положению, не работающие в цехе «К» получают только разовые пропуска. На сегодняшний день пропуск мне выписан.

Затем они простились. Однако личное дело Головина еще долго лежало на письменном столе Шорина.

От Шорина Головин пошел за пропуском в цех «К», получив пропуск, пересек длинный заводской двор, прошел через особую калитку и увидел ничем не примечательное длинное двухъэтажное кирпичное здание. Все же он почувствовал сильное волнение в ту минуту, когда часовой внимательно рассматривал подпись и печати на пропуске.

В цехе «К» Головин оставался не долго. Он сделал вид, что его интересуют только некоторые детали снаряда, а совсем не вещество, которым он заряжался. Как бы мимоходом, Головин спросил у главного инженера цеха о взрывчатой силе этого вещества и получил ответ, что количества, находящегося в цехе, хватит для того, чтобы уничтожить все живое на два километра в окружности.

Головин чуть изменился в лице от этого ответа. Несколько минут он стоял как бы в раздумье, рассматривая зеленоватое вещество на ладони инженера и стоящие в стороне металлические запечатанные ящики, думая о том, что выстрел из пистолета, пуля, выпущенная в такой ящик, могла

бы вызвать катастрофу, которую не пережил бы никто на расстоянии в два километра. (Он, впрочем, не знал, что металлические ящики были в это время пусты, в них не было ни грамма взрывчатого вещества для снарядов инженер-майора Юрченко. Впоследствии мы узнаем, почему так было в этот примечательный день.)

Головин простился с главным инженером цеха и вышел, пригласив его побывать у него в лаборатории.

Когда калитка за ним закрылась, Головин снял кепи и вытер выступивший на лбу пот. Если бы кто-нибудь в эту минуту видел лицо Головина, он был бы изумлен смертельной бледностью его лица.

Точно опасаясь, что кто-нибудь может прочесть его мысли, Головин быстро пересек заводской двор и через проходную вышел на улицу.

Утро в селе Тучково

Ерофеев жил в одном из лучших домов города Плецка, в бывшей квартире председателя райисполкома. Утром Ерофееву подавали запряженную парой высокую бричку. Ездил он с охранником в немецкой форме и людей, знакомых и незнакомых, по совету немцев, избегал. Но судьба его предшественников не пугала ого. Временами он думал, что лучший удел для него была бы смерть от рук партизан, раз он сам не может совершить над собой суд.

Но в другие минуты он успокаивал себя: «В сущности я никого не убиваю, не терзаю, не мучаю, — живу себе поминая в чистой комнате прежнего председателя райисполкома, курю немец-

кие сигареты и читал «Ниву» за 1892 год. Какое тихое, какое милое было время...»

К Ерофееву никто не ходил, кроме переводчика — немца. Переводчик приносил ему на подпись бумаги. Ерофеев подписывал их, не читая. В первый раз он вздумал прочитать то, что должен был подписать, и не удивился, хотя в бумаге было восемь пунктов и каждый из них кончался словом «смерть». Он хорошо понимал, что слово это, написанное на бумаге, означает — выселицу, яму, в которую сваливали трупы застреленных людей, он сам это видел не раз. Ему было тепло, сытно, и это для него — главное. Рука выводила привычную подпись: «Ерофеев» — «Е», похожее на сидящую птицу, и «р», похожее на рукоятку сабли.

Переводчик по фамилии Луис убирал бумаги и уходил. Иногда звонил по телефону Шнапек — это означало, что Ерофеев должен ехать на вокзал встречать заезжего гостя из Берлина, или генерала, командующего корпусом. Ерофеев надевал черное пальто, выданное ему для таких случаев, и бархатную шапку, искаляя, когда поглядывалось, допрагивался до руки высокого гостя, если ему подавали руку. Издали, из-за забора, на него глядели железнодорожники, случайные прохожие, возвращающиеся с базара. Два или три раза Ерофеева фотографировали вместе с немцами. Шнапек показал ему немецкую газету, где Ерофеев увидел себя и немцев. О Ерофееве в газете было сказано, что он глава русского населения такого-то округа и что он снискал к себе уважение населения строгостью и справедливостью.

Население видело своего главу только в тот час,

Когда Ерофеев ехал в управу или возвращался из управы. Люди глядели в сторону Ерофеева невидящими, пустыми глазами. Они глядели на сытых лошадей с подстриженными хвостами, высокую фасонную бричку, глядели на кучора и на охранника — полицейского, это Ерофеева как бы не замечали. А между тем он иногда встречал знакомых людей, с которыми ему доводилось дружелюбно толковать о видах на урожай, когда он был агрономом. Ему случалось встретить приятелей, которые приходили к нему до войны поиграть в шахматы, выпить и закусить на кануне выходного дня. Теперь они старались не глядеть в его сторону, да и ему не хотелось встречаться с ними взглядом.

Однако Ерофеев все еще считал, что он не совершил ничего такого, что вызывало бы к нему ненависть горожан и крестьянского населения. Его имя на приказах и объявлениях? Но разве он сам приводит в исполнение казни? Этим занимаются другие.

Однажды, в седьмом часу утра, его поднял адъютант Шнапек и заставил одеться. На этот раз ему было приказано надеть камоги и испромокаемый плащ — было дождливое утро.

На улице его ожидали Шнапек и два офицера пословой жандармерии, следившие в автомобиле. Позади автомобиля стоял броневик. Шнапек посадил Ерофеева впереди себя и, положив ему руку на плечо, сказал:

— Мы едем в Тучково.

Ерофеев почувствовал некоторое беспокойство. Он что-то слыхал о том, что в селе Тучково убили немецкого солдата и ранили полицейского. Об этом селе в последние дни упоминал в разго-

ворах с немцами переводчик Лукс. Теперь он понял, почему у городской заставы их ожидали солдаты, погаженные в грузовики.

— Вы должны помнить, что вы не только бургомистр, начальник города, но и начальник района. И вы должны показать строгость. Полевая жандармерия и охранная полиция будут исполнять ваши приказы. Тот, кто останется жить, должен знать, что русских крестьян наказывал их соотечественник. Слишком многое здесь говорят о том, что мы плохо обращаемся с населением. Пусть люди видят, что поставленные нами власти сами расправляются с врагами нового порядка в стране. Сегодня утром село Тучково останется только как название на карте.

Они поднялись на мостогор. Дождя уже не было, даль прояснилась, в отдалении, у березовой рощи, показалось большое село. Если бы Ерофеев был в состоянии понимать прелесть русского пейзажа, он бы умилился: золотая, осенняя листва белоствольных берез, высокая белая колокольня над обрывом, рассыпавшиеся по склону избы, мирный дымок из печных труб... Мягчание коров, рожок пастуха. И, казалось, прежняя безмятежная, сельская тишина.

Всего этого не было спустя два часа.

Полдневное солнце высоко стояло над дымившимся тепелищем, пахло гарью, трупы людей валялись среди обуглившихся бревен. Густой черный дым поднимался над зеленым склоном, где еще утром было село Тучково. У развалин взорванной колокольни, рядом с полковником Шнаппом, стоял багровый, вспотевший Ерофеев и глядел на толпившихся у ручья немецких солдат. красная от дровища вода стекала с их рук.

Случилось то, что предвещал Шнапек: села Тучкова больше не существовало на русской земле. Столетиями здесь жили замечательные гончары, столетиями жили поколения русских крестьян, они видели закованых в латы ливонских разбойников-рыцарей, пережили эпоху военных поселений — длину прихоть Аракчеева. Их предеды, деды и отцы жили, трудились и находили вечное успокоение (в бересковой роще, на сельском ноготе). Но осенью 1942 года село было стерто с лица земли, и месяц спустя только столб и доска с надписью «Тучково» напоминали о том, что здесь совсем недавно жили русские люди.

Ерофеев возвращался в город. Все, что он видел в Тучкове, казалось ему пьяным, тяжелым сном. Ему казалось, что не он, а какой-то другой человек, на которого он глядел со стороны, призывал жечь избы, убивать, стрелять в детей на руках у женщин. Он вдруг вспоминал, что узнал в одной из этих женщин учительнице Токареву, у нее была трехлетняя дочь. И снова не он, а кто-то другой, с лицом Ерофеева, голосом Ерофеева спросил у Токаревой: «Ну, кого же первой — вас или дочку?» — и она ответила: «Меня... Нет! Поскорее забыть обо всем этом!

Он вспоминал, как он брал у Шнапека фляжку с ромом и пил, не пьяная, и снова пил... Он поклялся немцам быть их верной собакой. И он стал ею. «Bluthund» — есть у немцев такое прозвище. Да, в молодости он был растратчик, он растратил местковские деньги, он скрыл судимость, но ведь все это детская шалость перед тем, что он сделал сегодня...

Шнапек довез его до дома. Он глядел на него

с обычной своей мрачной улыбкой, сам открыл ему дверцу автомобиля и, когда Ерофеев нетвердыми шагами прошел в калитку, с удовлетворением кивнул головой. Теперь все было в порядке. Теперь этот человек связали кровавой порукой с немцами. Комендант скончательно уверился в этом, когда два дня спустя в одно флигеля, где жил Ерофеев, ударила пуля и сплющилась, пробив бок пузатого самовара.

После страшного утра в Тучкове Ерофеев как-то окаменел, без мыслей, без желаний он часами лежал на постели, спал не раздеваясь, сидел, куда ему полагалось ездить, подписывал то, что от него требовал переводчик Луже. Потом он возвращался домой, в свои две комнаты, которые нехотя убирала глухая старуха — дальняя его родственница.

Дикий страх овладел Ерофеевым.

Охранники ходили под окнами флигеля, ночью с цепи спускали немецкую овчарку, которую прислал Шнапек. Немцы берегли Ерофеева, им надоело менять людей, особенно после того как погиб загадочной смертью предшественник Ерофеева — Котлов.

Был один человек, с которым мог бы встречаться Ерофеев. Он не боялся встречи с этим человеком. Это — Иноземец, которого он знал по наслышке. Но Иноземцев всегда был в разъездах, он строил дорогу, и когда приезжал в Плещик, то пропадал у немцев. Немцы благоволили Иноземцеву, особенно фон Мангейм. Иноземцев был красивый, веселый малый, умел выпить, лихо сплясать, играл на гитаре. Все ему давалось легко — даже дорога, которую до него не мог построить немецкий специалист инженер Гунст.

Так получилось, что Ерофеев оказался в одиночестве и стал пить, хотя пьяницей не был никогда и вышивал раньше только, чтобы не разстроить компании.

Однажды Шнапек сказал Ерофееву, что ему следует бывать по воскресеньям и праздникам в церкви. Ерофеев удивился, в церкви он не бывал с детства. Все же он обрадовался, это как-то могло оживить его одинокую, однообразную, струнную жизнь. Все-таки в церкви будут люди, старые люди, им он будет по-меньшей мере безразличен.

Он был у ранней обедни в воскресенье. Народу было немного. Ерофеев чувствовал на себе взгляды осуждающих, но, когда он поднимал глаза, люди отворачивались, совсем как на улице.. Ерофеев сказал Шнапеку, что в церковь он больше не пойдет, Шнапек усмехнулся:

— Можете не ходить. Но вы должны посвятить квартиру к священнику отцу Александру и отвезти ему посыпочку с продуктами, подарок от немецкого командования, — так и скажите.

Отец Александр был старый человек, года его подходили к восемидесяти, но на желтом, пергаментном лице его светились живые, вспыхивающие лукавым огоньком глаза.

Он ничего не сказал по поводу посылки, которую передал ему Ерофеев. Они сидели в полутемной кухне, у печки, здесь было теплее, чем в комнатах.

— Вы ведь здешний? — спросил Ерофеева отец Александр.

— Понятно, здешний... Нам не приходилось с вами встречаться по понятным причинам.

— Да, да, по понятным причинам. А вот теперь встретились...

Ему, повидимому, было трудно продолжать разговор.

— Должен вам сказать, — начал Ерофеев, — что немецкое командование на рождество решило сделать подарок здешним детям, послать им угощение. Насколько я слышал, предполагается устроить елку в школе и подарки доставят туда. А вы уже возьмете на себя труд раздать угощение детям... — Священник молчал. — Какое ваше мнение по этому поводу?

Отец Александр кашлянул и, глядя в сторону, сказал:

— Вас интересует мое мнение?

— Конечно.

— Видите ли, елка — праздник веселый, а тут война, в каждой семье свое горе, у того отца нету, у того брата или мужа... Как же тут веселиться? Вряд ли родители согласятся устраивать елку в дни общего горя... Тем более — в городе всем известно то, что произошло на днях в селе Тучково...

— А вы не боитесь, — спросил Ерофеев, — что ваш отказ будет сочтены за не почтительность к немецкому командированию? До сих пор немцы относились к вам хорошо, уважая ваш возраст и сан...

Отец Александр опять помолчал и вдруг, подняв на него глаза, сказал с недобrouй усмешкой:

— Возраст мой действительно почтенный, семьдесят шесть лет, и в таком возрасте смерть — это уже страшна... Вообще русские люди смерти никогда не боялись, смотрели на нее как на нечто неизбежное. Быгают, разумеется, исключения. Больше у вас нет никаких дел со мной?

— Нет. Разве вот что: скоро зима, вам дровишки понадобятся...

— Мне не так много надо, и верующие обо мне помнят. Не извольте беспокоиться.

И священник опять замолчал, выжидательно поглядывая на Ерофеева.

— Извините, — сколько вам лет? — неожиданно спросил он.

— Тридцать один.

— А глядите старше. Вот и седина у вас в волосах.

— Это — недавно...

— Ну, понятно.

На этом разговор закончился. Ерофеев простился и вышел. Он полз в бричку и увидел «посылочку» — подарок немцев — на сидении.

Вечером он сказал по телефону Шнапеку, что священник благодарит за внимание, но подарок не принял, о нем, мол, заботятся верующие.

— Надо было заставить его взять! — крикнул Шнапек.

Ерофеев промолчал. Он много выпил, вернувшись от священника, ему была безразлична грусть Шнапека. Ему было безразлично все вокруг, только бы не быть снова в том адту, откуда он спасся чудом, только бы было тепло, сытно и был самогон.

Однажды вечером

В первый же день по возвращении в Западный Сибирь Соню Соснову охватила грусть по оставленной Москве. В столице ее наполняло ощущение близости фронта: серебристые аэростаты заграждения среди золотой листвы бульвара, золотые «доджи» и «форды», юркие «виллисы» и

Фронтовые, обвешанные бензиновыми баками, экипажи на улицах и площадях, офицеры и солдаты, только что миновавшие московские заставы и зеволюционные тем, что они в Москве; танк с открытым люком, танкист в шлеме, похожем на маску греческого воина; широкогрудая бронированная машина покорно стояла среди лежковых машин, ожидая зеленого сигнала светофора, и, дождавшись, с неожиданной в этой мощной промаде легкостью устремлялась вперед.

О, эти московские военные ночи, пустынные темные улицы, гулкий шаг ночных патрулей и луч прожектора, уставившийся в темное звездное небо...

Здесь, за Уральским хребтом, не ощущалось волнующей атмосферы столичного города, и это было непривычно Соне.

Утром по улице Спартака проходили солдаты резервных частей, они пели о народной священной войне. «Внимание! Говорит Москва!» — рассказывался по площади голос из радиорупора, и эти слова: «Говорит Москва!» звучали здесь иначе, чем в самой Москве.

Соне казалось, что люди в Зауралье слишком спокойны, слишком уверены в себе и в будущем. Возвращаясь домой, во флиigel на улице Борьбы, она глядела в освещенные окна, и сей разаилось, что в этих домах мало думают о том, что происходит за две с половиной тысячи верст к западу. По праздникам и воскресеньям улицы были полны народа, вверх и вниз двигались потоки гуляющих парней и девушек, выздоравливающих бойцов, которым удалось ускользнуть из госпиталя, эвакуированных, снисходительно поглядывающих на местных жителей.

У «Европы», лучшей гостиницы в городе, стояли командировочные в вылинявших кожаных пальто и ждали обеденного часа, какие-то пожилые дамы в пестрых платочках нетерпеливо ждали своей очереди к маникюрше.

Воскресенье было нелюбимым днем Сони. В этот день рано закрывалась читальня, и ей приходилось уходить из светлого и чистого зала, где можно было увидеть самых разнообразных и интересных людей; они могли часами шепотом спорить о положении на фронте, говорить о книгах, рассказывать о себе, о том, почему очутились они в Зауральске.

Кого только не видел Зауральск в эти военные годы! Здесь были корректиные ленинградцы, словоохотливые киевляне, темпераментные и неугомонные одесситы, десушки из Днепропетровска с их певучими, звонкими голосами, молчаливые, задумчивые эстонцы и, наконец, немного сумрачные, но гостепримные местные жители, которых немало озадачило это великое переселение людей из заводов с запада на восток.

После того, как у Сони наладилась жизнь в новом для нее городе, она стала особенно внимательно присматриваться к окружавшим ее людям. Люди понемногу отходили после испытания тяжелой прошлогодней зимы, когда порою недоедая, недосыпая, надо было налаживать старые заводы, строить новые, пускать станки в холодных, сырых цехах. Кое-где, когда сошел снег, можно было видеть заржавленные станки и механизмы. Они еще лежали в забвении на дальних путях вокзала. Но вскоре и они нашли себе место, точно так же как и люди, приехавшие сюда вместе с заводами, без которых трудно было себе представить

Москву или Ленинград. Временами, когда Соня приходилось весь день бывать среди москвичей, ей казалось, что она не покидала столицы. Одна встреча с московским знакомым опечалила ее, напомнила недавнюю утрату.

На телеграфе она увидела рыжеволосого худощавого человека с несколько усталым лицом, быстрым и внимательным взглядом серых прозрачных глаз. Он пропустил Соню и хотел пройти, но вдруг остановился и вернулся.

— Я не ошибаюсь... мы, кажется, знакомы, во всяком случае встречались...

— Нас познакомил Женя Хлебников, — напомнила Соня.

— Да, совершенно верно. На концерте в Консерватории... Отойдем в сторонку или лучше выйдем в сквер. Вы не торопитесь?

Они присели на скамейку в сквере, вокруг бегали взапуски дети, и рупор радио вещал в пространство: «Говорит Москва...»

Несколько фраз, и московский знакомый узнал все о Соне. Ей довелось не так много разговаривать в эти дни, и она вдруг почувствовала необходимость говорить. Чем-то дрожало у нее в горле, и сердце сильно забилось, вероятно от присутствия человека, который был свидетелем ее счастья с Женей.

— Да, многих мы не досчитаемся после войны... Я и то чтобы дружил с Женей Хлебниковым, но мы хорошо относились друг к другу, вместе были на практике, после института. Это был славный парень, хороший товарищ... Вы успели пожениться?

— Нет.

Соня понравилось, что он так просто и тепло говорит о Жене.

— Вы инженер?

— Нет, я инспектор кадров на заводе «Первомая».

— Давно вы в этих местах?

— Скоро год... Я приехал сюда после ранения, прямо из госпиталя.

— Вы, кажется, москвич?

— Нет, я из Краснодара... О своих ничего не знало с лета этого года. Там у меня мать и сестрёнка.

— Вы думаете, что они... — Соня хотела сказать «живы», но запнулась.

— Думаю, что их нет на свете. Меня знали в городе, знали моих близких, — на тысячи честных людей найдется один предатель.

Они простились и условились увидеться в ближайшие дни.

Спустя три дня Шорин зашел в читальную Дворца культуры. У него были два билета на концерт известного столичного певца. До закрытия читальни оставалось четверть часа. Шорин перелистал журналы и увидел за одним из столов Георгия Ивановича Головина. Он собирал со стола свои блокноты, заметки и держал подмышкой стопку книг. Они поздоровались.

— Вот где приходится работать, — улыбаясь, сказал Головин, — но хозяйка здесь — приятнейшая девушка, и я чувствую себя как дома.

Он положил стопку книг перед Соней, взглянул на часы, попрощался и ушел. Шорин ждал, пока Соня кончит с делами, и стал перебирать книги, которые только что вернул Головин. Казалось, он весь отдался этому занятию.

— Вот и мне придется изредка заглядывать к

вам, Софья Кирилловна, — сказал, отодвигая книги, Шорин, — в библиотеку обкома далеко ездить.

— Будете желанным гостем, — ответила Соня. Она поглядела на себя в зеркало, осталась не слишком довольна своим видом, но Шорин стал шутливо убеждать ее, что «важна молодость, осталось приложиться».

Соня очень довольна была тем, что ей удастся побывать в театре, Шорин был с ней по-товарищески прост, она чувствовала себя с ним непринужденно, как со старым знакомым.

В антракте они снова увидели Головина.

— Так вот куда вы спешили! — воскликнула Соня. Она все же чувствовала себя как-то неловко с ним после странного разговора в вагоне. Но, бывая в читальне, Головин даже виду не подавал, что помнит об этом.

Он заговорил с Шориным и сказал, что очень доволен работой.

— И подумать только, ничего бы этого не было, если бы не Костромской. Очень приятный человек.

В фойе погасили свет, начиналось второе отделение концерта. Головин простился и отошел.

— Вы давно знаете товарища Головина? — спросил Шорин.

— Недавно, я познакомилась с ним у Андрея Андреевича, отца Жени. Он довольно симпатичен, хотя, как бы вам сказать... старомоден.

— Ну, это еще не порок.

Певец и аккомпаниатор вышли на сцену. Шорин замолчал. Он слушал пение в каком-то приятном оцепенении. Когда кончился концерт, он сказал Соне:

— Вероятно, я неинтересный собеседник. Во всяком случае неразговорчивый.

— Ничего. Иногда это приятно, — ответила Соня.

Они вышли из театра, ночь была лунная, они медленно шли по широкому проспекту, ведущему в заводской район. На мосту им открылось зарево заводов, вспышки электросварки, красные и зеленые огоньки на путях, розовое, освещенное заревом, вечное облако дыма над трубами. И как Млечный путь — в степи россыпь огней заводских поселков.

— О чём вы думаете? — спросила Соня.

— О самых прозаических вещах. Вряд ли позволительно думать об этом в такую лунную ночь. А вы о чём?

— Какая огромная наша страна... Отсюда до фронта — две с половиной тысячи километров... Вам не кажется, что нехорошо нам быть так далеко от фронта?

— Я был на фронте шестнадцать месяцев.

Шорин не сказал о том, что у него прострелено легкое и он до сих пор страдает от контузии.

— Я совсем не была на фронте.

— А что вам там делать?

— Ну, дело бы нашлось. Вы довольны тем, что вы здесь?

— Пока нет. Но для меня и здесь фронт.

Он не отводил глаз от огней заводских поселков.

— Вот тысячи домиков и бараков, десятки тысяч огней. И очень возможно, что где-нибудь за окном сидит человек, который ненавидит нас и все вокруг, ну, прямо говоря, враг, шпион и предатель или то и другое вместе.

— Я об этом не думала.

— Об этом стоит подумать... В сущности, фронт и там... — он указал на запад, — и здесь. Разве можно быть уверенным в том, что где-нибудь

здесь, вблизи, где притаился враг? Перед нами город заводов, наш большой город, сотни тысяч рабочих, инженеров, техников... А где-нибудь в Германии сидит немец и занимается, скажем, не то чтобы этим огромным городом, а именно нашим заводом, и на нашем заводе, среди десяти тысяч честных тружеников, у него есть свой человек, и даже не один человек! Сидит и ждет своего дня и часа! И дождется, если не найти этого гада, не умертвить его и тем самым ужалить в самое сердце, где-нибудь в глубине Германии, самоуважающего и злобного немца.

— Да, конечно, это нужное и хорошее дело.

Они давно миновали мост и шли вдоль аллеи, застроенной однообразными пятиэтажными жилыми домами.

Соня с удивлением почувствовала, что сейчас она по-другомуглядит в эти освещенные окна.

— Это — поединок. Для того, чтобы победить в смертельной схватке, нужна работа мысли, терпение, умение выжидать, нужна решительность в нужную минуту, наконец, что-то вроде шеющего чувства, чутье, что ли... Об ином человеке несправедливо говорят, что он сверх меры подозрителен, что он болен «шпиономанией». Это не верно. Просто он строг в выборе людей, которым можно довериться. А если уже доверяет человеку, то редко ошибается.

Они остановились у перекрестка. Цепкий прузовый состав двигался мимо них. Под брезентовыми чехлами рисовались силуэты тяжелых танков. Орудия, как вытянутые хоботы, были обращены на запад.

— Полтора года я работал в Германии, в тридцать третьем году я увидел впервые гитлеровцев

и понял, что это звери. Однажды, в Гамбурге, в цирке, я видел особый вид борьбы, эта борьба называется «панкрас». В этой борьбе нет запрещенных приемов, борцы царапают, кусают, грызут друг друга. После первой же схватки они покрываются кровью, как мясники. Если бы видели, как бесновалась и орала эта сволочь — штурмовики. Вот как их воспитывали и потом пустили на нас эту бешеную орду!

— Здесь я живу, — сказала Соня, указывая на одноэтажный флигель. — Я думаю, мы еще увидимся. До девятки вечера я всегда в читальне.

Они прошлились.

Разговор за самогоном

Город Плецк умирал на глазах Ерофеева. Он чувствовал это, хотя жизнь его проходила в четырех стенах его комнаты, хотя только два раза в день он проезжал по улицам Плецка. Город пустел, жители уходили в дальние лесные селения. Дома разрушались, растаскивались на дрова немцами — они ленились ездить в лес, за речку. Механический завод был разрушен еще в начале войны, лесозавод не работал, плотники, которыми славился город и окрестные села, разбрелись кто куда, а иные погибли в лагерях. Погибали за собой взгляд, за бранное слово, сказанное немцу, когда уже нельзя было больше терпеть обиды. Даже на базаре, где шумели и барабанили один и те же оголтелые спекулянты, можно было увидеть не более сотни людей, напуганных недавними облавами на партизанских разведчиков. Население города уменьшилось вдвое, а может и больше.

После выстрела в окно Ерофеев не любил су-

мерек. Кроме того, в сумерки приходили мрачные мысли, и он приказывал запирать ставни, как только начинало темнеть. Глухая старуха ставила перед ним тарелку соленых грибов, графин и чайный стакан. Ерофеев раскрывал «Ниву» за 1892 год и перелистывал ее, в сотый раз проглядывая одни и те же картинки, незаметно осушал графин — это была его обычная вечерняя порция. Однажды вечером, в тот час, когда он сидел, мутным и долгим взглядом уставившись на какой-то итальянский пейзаж, залаяла овчарка, послышался говор, и чей-то голос громко назвал его имя. Ерофеев удивился, встал и вышел на кухню. На пороге стоял высокий молодой человек в полурубке и охотничьих сапогах.

— Иноземцев, — назвал он себя. — Мы с вами до сих пор не были знакомы.

— Прошу, — глухо, в усы, сказал Ерофеев, — рад познакомиться.

Он посторонился и дал гостю дорогу. Иноземцев с некоторым удивлением посмотрел на графин, тарелку соленых грибов и раскрытую «Ниву» на столе. Его поразили пряязь и запустение этой мрачной компаты с закоптевшим от керосиновой лампы потолком.

Тем временем Ерофеев достал фаянсовую кружку, поставил ее перед Иноземцевым и наполнил какой-то жидкостью.

— Предупреждаю — самогон. Залусочку соорудить или хватит грибов?

— Спасибо. Вполне хватит.

Ерофеев сел против Иноземцева и захлопнул «Ниву».

— Рад вас повидать. Ни одного человеческого лица, кроме немцев, не вижу.

«Нашел человеческие лица», — подумал Иноземцев.

— Для первого знакомства надо выпить по русскому обычанию, хотя здесь русскими обычаями и не пахнет... А вы какой молодой, — продолжал, как бы думая вслух, Ерофеев, — вам, должно быть, легко с ними... Вы не из дворян?

— Нет, не из дворян.

— Я из мужиков. Должно быть, потому немцы со мной не церемонятся.

— Они и со мной не церемонятся.

— Вы в лагере, в Руднице, не сидели?

— Нет, не сидел.

— Счастливый... А я вот сидел. Я не могу вниз смотреть, совсем не могу смотреть вниз.

— Это почему же?

— Проволоку вижу. Всюду проволока... Как смотрю вниз, так везде — проволока, как в лагере. Опускаюсь на землю и шарю руками — ничего нет.

Ерофеев поднес к губам стакан, не отрываясь выпил его до дна и шонюхал хлебную корочку. Потом положил голову на согнутый локоть и долго смотрел на Иноземцева.

— Вот вы, Иноземцев, глядите на меня и думаете: это и есть главный палач, на нем кровь тучковских колхозников.

— Думаю.

— Меня все ненавидят — стреляли в меня. Вчера против моих окоц на заборе написали: «Скоро сдохнешь». Под носом у охранника написали. Ловко?

Он снова налил себе и выпил.

— А долго вы сидели в Руднице?

— Четыре месяца. У меня два ребра поломаны. И два раза вешать водили. Почему-то не по-

месяци. Там нас шестьсот человек было, осталось сорок две, когда я вышел... Как это вам посчастливилось?

— Я с первых дней пришел к немцам — и ничего... работаю.

— Говорят, это вы Разгонова выдали?

— Какого Разгонова? Партизана? Я сроду его не видел.

— А почему же вы у немцев в чести?

— Умею работать. Я — дорожник. Потом характер у меня легкий, могу спеть, сплясать и выпить могу при случае... А ворнее всего — я им нужен.

— Я только троих знаю, кто ко двору немцам пришелся. Вы, да я, и еще третий... Только он не русский, а немец обрусеивший.

— Что-то не знаю я такого.

— И не можете знать, раз в Руднице не сидели. Краузе его фамилия. Густав Максимилианович. В политохникуме учился, в Риге. Он об этом немцам говорил, они сначала не верили. Краузе.

— Понятия о таком не имею. А вы его хорошо знаете?

— Две недели в лагере одной рваниной укрывались. Он болел малярией. Потом вдруг приехал за ним сам Шналек, прямо к нему, поговорил немного и увез. На своей машине увез. Я думаю, этот Краузе давно в России.

— Почему вы так думаете?

— Даже не думаю, а уверен. Я немногого немецкого знаю. Разговор шел при мне, я слышал... ну, не все слышал, а кое-что. Выпейте, а то мне неудобно. Все-таки вы — гость.

Иноземцев рассмеялся.

— Ну, какой я гость?

— Но пейте, если не хотите. Мне все равно. Я

когда пьян — один боюсь быть. Сажаю глухую старуху в угол и пью. Надо, чтобы здесь дышал кто-нибудь... Послушайте...

Он приподнялся и заглянул в глаза Иноzemцеву.

— Послушайте... это вас Шнапек ко мне послал, да?

Иноzemцев помолчал и сказал с деланной небрежностью:

— Конечно. И это плохой признак.

— Ну, и что же? Пьяному — мне все равно. Ничего не страшно.

Он наклонился и взял за плечо Иноzemцева:

— А вы не пьете... Не понимаю вас.

Гибкие места

Фон Мангейм писал в Нварцвальд дяде Отто, владельцу майората и генералу в отставке:

«В четверг я собираюсь охотиться на лося. Это нисколько не похоже на ту охоту, о которой вы рассказывали: охота в свите двух императоров, и кронпринца в Беловеже и затем пир в охотничьем замке. Я буду охотиться в добрых северного русского леса, в болотах, где нога увязает по колено, в трущобах, где сам можешь стать дичью для партизана. Мы строим здесь дорогу протяжением в 120 километров. Строим, конечно, не мы, а здешние жители и люди, взятые из лагерей. Прелестные места. Дичи здесь множество, но лоси все-таки редкость. Можете себе представить, что мы будем стрелять в лосей из автоматов. «Какое варварство», — скажете вы. Вот что делает с нами война... Здесь есть один молодой русский, он смотрит на меня, как на божество. Он старается под-

ражать мне во всем. Это очень веселит меня. Имен-
но он строит дорогу, и с тех пор, как он взялся за
этую работу, дело сильно подвинулось вперед. Ру-
ками таких людей мы управляем этой страной.
Но головы остаются наши. Если вы увидите бо-
жественную Клотильду, скажите ей, что воспоми-
нание о нашей последней встрече в Мангейме
владеет мной под этим суровым небом. Пусть
она не беспокоится обо мне, — пока мы живем
здесь, как в лесном отеле...»

Дописав письмо, фон Мангейм приказал денщи-
ку отнести его офицеру, который улетал на рас-
свете в Берлин. Затем он решил лечь спать, так
как в семь часов утра за ним должен был за-
ехать Иноземцев. Но прежде чем лечь в постель,
он позвонил коменданту и сказал ему, что уезжает
на три дня на охоту.

— Вы едете, надеюсь, не одни? — спросил Шнапек.

— Со мной мой Готвальд и Вилли, два отчаян-
ных вестфальца. Затем я беру с собой Инозем-
цева, этому только и останется, что дорого про-
дать свою жизнь, если на нас нападут партизаны.

Шнапек промычал что-то небывалое.

— Потом — вы сами мне говорили, что с тех
пор, как ваши люди убили Разгоноva, леса стали
безопасны.

Шнапек пожелал группенфюрору хорошей охоты.
В то время, когда происходил этот разговор, Иноземцев сидел в кабинете Шнапека и рассеянно
рассматривал фотографические снимки. Они по-
казались Иноземцеву неинтересными, кроме одно-
го, изображавшего взорванный, еще дымящийся
блиндаж.

— Вы узнаете это место? — спросил Шнапек.

Иноземцев отрицательно покачал головой.

— Вам следовало бы его знать. Здесь был убит Разгонов.

— Ах, вот что? — удивился Иноземцев. — А мне говорили, что его случайно застрелил патруль.

— Легкомысленным людям это может показаться случайностью, но на самом деле все было предусмотрено. Разгонов был ранен, мы преследовали его четыре километра, он и его адъютант были загнаны в это логово, и там их убили.

— И трупы были опознаны?

— После того, как взорвали блиндаж, это было не так легко. Но была примета, по которой узнали Разгнова: татуировка.

— Говорят, вы обещали за его голову сто тысяч?

— Это — факт.

— Кто же получил эти деньги?

— Половину заплатили одной вашей знакомой.

— Не секрет — кому?

— Секрет... Мангейм сказал, что вы едете с ним на охоту.

— Еду. Хотя это меня отрывает от дела. Без меня работа идет хуже, чем при мне.

Шнапек пожал плечами.

— Я найду повод, чтобы вас вызвать.

Как всегда, он вдруг резко изменил тему разговора:

— Что вы думаете о Ерофееве?

— Это — конченый человек.

— Я тоже так думаю.

И Шнапек встал. Это означало, что разговор кончен.

В семь часов утра Иноземцев подошел к дому,

где жил Мангейм. У палисадника стоял отливавший жемчужным блеском «Оппель-адмирал», машина, удобная тем, что на переднем и заднем сиденьях могли уместиться по три седока. Шофер и два солдата составляли свиту группенфюрера. Это были грубые, дюжие вестфальцы. Фон Мангейм посадил Иноземцева рядом с собой и от скуки дорогой расспрашивал его, где именно в России водятся медведи. Узнав, что медведи, главным образом, водятся в глубине страны, на северо-востоке, группенфюрер сказал:

— К зиме мы будем там.

Они давно уже оставили Плецк и миновали кладбище егерского полка. Березовые невысокие кресты правильными четырехугольниками стояли на поляне, в центре этих крестов в два ряда стояли кресты повыше — здесь лежали офицеры егерского полка, наконец среди этих офицерских крестов самый высокий обозначал могилу полковника. Ниже, у реки, было кладбище полка СС, точно такой же парад березовых крестов. Вообще немцы любили русскую березу. Перила мостов, скамейки у блиндажей, столбы проволочных заграждений, заборы — все было сколочено из белых стволов березы. Но хвойный лес, куда ехали охотники, чернел сумрачной, изгибающейся вдоль берега реки стеной.

«Оппель» миновал недостроенный мост. Под мостом, по колено в воде, работали люди. Здесь начинались владения Иноземцева. Вдоль реки тянулись полные воды траншеи, за траншеями шла мелкая поросль. Затем старый хвойный лес принял их под свои мрачные своды. Справа и слева тускло блестела болотная вода, суживающейся черной лентой лежала дорога — гать из парал-

лельно положенных, грубо обтесанных стволов. «Оппель» двигался толчками, как бы ныряя, стволы молодых деревьев гнулись под тяжестью машины. Вестфальцы-токохранители безрадостно поглядывали по сторонам. Ни одна машина не попалась навстречу охотникам, это была стратегическая дорога, которую приберегали для будущего наступления. Фон Мангейм бранился при сильных толчках, Иноzemцев зевал и болтал о пустяках, чтобы не задремать.

— Господин фельдкомендант обещал мне поездку в Берлин и в Вену, — блаженно улыбался Иноzemцев. — Это красивые города?

— Да. Особенно Вена. Вы бывали в больших городах? — поинтересовался фон Мангейм.

— В Харькове и в Ростове.

Фон Мангейм снисходительно усмехнулся. Так они двигались по этой дороге, которая в сущности представляла собой бесконечный мост через болото. Часа через два им попалась сравнительно сухая лесная поляна. Здесь были построены четыре шалаша, и отсюда на восток шла малозаметная тропа. Немцы повеселились, когда узнали, что в четырех-пяти километрах находится лагерь строительных рабочих, а главное — полицейский отряд, наблюдающий за порядком в лагере.

Дождь уже давно шуршал в ветвях, поездка утомила фон Мангейма, и он умилостиво оглянулся на ящик с вином и закусками.

— Будет не глупо, если мы устроим здесь привал.

Группенфюрер приказал вестфальцам приготовить завтрак. Фон Мангейм и Иноzemцев вышли из машины и отправились в шалаш. Здесь они

нашли стол и скамьи, сколоченные из грубых досок. Конечно, это ничуть не походило на охотничий домик где-нибудь в Шварцвальде. Но после того как полковник Мюльбах убил в этих гибких местах огромного лося, фон Мангейм готов был примириться даже с такими неудобствами, тем более потому, что вестфальцы очень мило напрыли на стол, достали из ящика все, что можно было найти в складе фон Мангейма, даже консервированные ананасы, и, главное, ром — классический напиток охотников.

— Я не могу пить после вчерашнего, — мне пришлось выпить два стакана самогона у Ерофеева, — пожаловался Иноzemцев, но фон Мангейм приказал ему пить, и Иноzemцев не без удовольствия дважды осушил серебряный стаканчик. Как только фон Мангейм налил ему третий, откуда-то издали донесся трохот мотоцикла, и через несколько минут вестфалец доложил, что прибыл еффрейтор с запиской от фельдкоменданта.

— Какая глупость, — со злостью сказал фон Мангейм, — он всегда умеет испортить удовольствие. — Фон Мангейм смял записку и бросил на землю. — Шнапек требует, чтобы вы отправлялись в ваш лагерь, а потом приехали в Плецк. Генерал неожиданно потребовал сведений о том, как идут работы.

Иноzemцев искренно огорчился.

— Если бы я знал, что так получится, я бы не поехал на охоту, — продолжал расхисший от рома фон Мангейм.

— Вы можете вернуться, господин групенфюрер.

— Вернуться! Весь гарнизон знает, что я уехал

на охоту. Они скажут, что я просто струсили. Нет! Мы будем охотиться без вас! У меня прекрасная карта, нас четверо, в конце концов мы убьем хотя бы одного лося, — ведь убил же полковник Мюльбах!.. И вообще — берегитесь Шинапека. Если бы не я, — вас бы давно не было на свете. Я так говорю потому, что немножко пьян...»

Иноземцев сел на заднее седло мотоцикла. Затрещал мотор, и ефрейтор с Иноземцевым исчезли из глаз. Фон Мангейм лениво помахал рукой в их сторону и приказал вестфальцам расстелить в шалаше спальный мешок. Был теплый октябрьский день, лес шумел меланхолическим, убаюкивающим шумом. Фон Мангейма клонило ко сну, и он приказал вестфальцу стащить с себя сапоги. Затем он залез в спальный мешок и минут через пять заснул мертвым сном.

Странное любопытство

Читальня и библиотека Дворца культуры помешались рядом с главным зданием Дворца, в барском особняке, принадлежавшем в старые времена уральскому миллионеру, горнозаводчику. Зал с выложенной голландскими изразцами печью и лепным расписным потолком — гирлянды роз и порхающие ангельчики — выглядел очень уютно, когда стало рано темнеть и в читальне зажигались настольные лампы. Шуршали газетные листы, шелестели страницы книг, слышались осторожные шаги постоянных посетителей читальни. Здесь любил работать, окружив себя справочниками и техническими журналами, Георгий Иванович Головин. В квартирах, где жили инженеры завода, было не слишком тепло, и Георгий Ива-

новы' стал завсегдатаем читальни. Соня знала, что в свободные часы Головин работает над докладом, который собирается прочесть в Доме учеников.

Однажды вечером, перед закрытием читальни, Соня увидела в дверях Шорина. Он с порога улыбнулся ей, подошел к ее столу.

— Вот видите, не забываю вашу читальню.

Действительно, два или три раза Шорин появлялся в читальне.

— Пишет вам Андрей Андреевич? — спросил он.

— Пишет — немножко прустные, но хорошие письма. Не знаю, чем я заслужила такое доброе отношение к себе.

Шорин, понизив голос, сказал:

— У меня к вам просьба: скажите, в последние три-четыре дня никто не брал у вас двадцать второй том Энциклопедического словаря Брокгауз-Эфрон?

Соня с удивлением посмотрела на Шорина.

— Вероятно, кто-нибудь брал.

— Вы не можете установить — кто именно?

— Право, мне трудно вспомнить...

— А можно вас просить об одной услуге: запи-
сывайте или запоминайте тех, кто именно пользуется Энциклопедическим словарем Брокгауз-Эфрон, и, главное, тех, кто попросит у вас двадцать второй том.

— И это все?

— Да. Все... Вы, кажется, собираетесь уходить?

Они вышли вместе. Шорин проводил ее к остановке трамвая.

— Я не могу забыть наш разговор в тот вечер, после концерта. И вот, представьте, теперь, когда я возвращаюсь домой и вижу эти тысячи огней

за железнодорожным полотном, — я вспоминаю ваши слова о том, что где-нибудь за окном...

Шерин смотрел на нее, улыбаясь:

— Я не думал, что вы так впечатлительны... Так вы не забудете мою просьбу?

— Конечно, не забуду. До свиданья.

Подошел трамвай. Соня осталась на площадке. Трамвай тронулся, потянулся бесконечный серый забор заводского двора. Она отвернулась, и вдруг ей показалось, что дрогнула земля, странный от свет блеснул в небе, на лицах людей Соня увидела изумление, потом испуг. «Варыг», — с ужасом подумала она. Все глядели в ту сторону, где был завод «Первое мая».

Большое серое облако, окрашенное красноватым пламенем, медленно всплывало над крышами цехов.

И чей-то голос, полный тревоги, шепотом произнес:

— Горит, горит...

Цена жизни

От лесного шалаша Иноземцев проехал в лагерь строительных рабочих.

Мотоциклист-немец проскочил в ворота лагеря, миновав с разгону несколько мотров вдоль колючей проволоки, которой был обнесен лагерь, и затормозил машину.

В сыром тумане, смешанном с дымом костров, двигались призрачные тени множества людей, слышался стук топоров и шипение механической пилы. Наклонив голову, Иноземцев вошел в вырытую у самой проволоки землянку. Переступив порог, он прищурился.

На опрокинутом ящике, уперев большие руки в колени, сидел бородатый старик со сросшимися косматыми бровями. Перед ним, согнувшись, заложив руки за спину, стоял незнакомый Иноземцеву человек. Иноземцев взгляделся в него и увидел, что руки этого человека скручены за спиной толстой веревкой. Кухонный нож валялся на земле, и лезвие его тускло отсвечивало от колеблющегося огня коптилки.

— Что тут у вас вышло, Борода? — спросил Иноземцев.

Старик поднялся с ящика:

— С ножом на меня полез! Одноглазый чорт!

Иноземцев не без удивления взглянул на связанного человека. Единственный глаз его горел злобой и ненавистью.

— Ты что, ошелел? Ну, убил бы ты его — тебя тут же и вздернули бы!

— А мне все одно. Хоть сейчас вешай!

— А что так?

— Детей моих нету на свете, хаты моей нету, хозяйки нету... Хоть одного гада убью — и можно помирать!

— Дешево себя ценишь, одноглазый чорт, — набивая махоркой трубку, заметил Борода.

— Такая мне, значит, цена.

Он потянулся, пошевелил плечами, веревка врезалась в кисти рук.

— Развязывай его! — приказал Иноземцев.

Борода посмотрел на Иноземцева и молча подошел к одноглазому.

— Слушай, — негромко и отчетливо заговорил Иноземцев, — если жить не хочешь, так и быть — но живи, но дешево жизнь отдавать глупо. И то, что ты на него с ножом полез, — тоже глупо. Он

здоровыЙ, как медведь, и мог тебя одной рукой вадаить.

Борода том временем развязал узлы. Одноглазый стоял в недоумении, расправляя руки, поглядывая то на Иноземцева, то на того, кого называли «Борода».

— Ну, иди...

Борода толкнул ногой дверь и пропустил вперед одноглазого.

Они довольно долго шли по изрытой, загаженной земле, вдоль проволоки, пока не вышли к воротам лагеря. Часовой посторонился, и одноглазый очутился за проволокой. Борода попрежнему шел с ним, несколько позади. Одноглазый все время оглядывался, ожидая выстрела в спину.

Вдруг Борода остановился и опять сказал:

— Ну, иди.

— Куда?

— Куда хочешь... Молодой еще... Наших дел не знаешь, а лезешь!

— Слушай, дядя, — сказал одноглазый. — Ведь ты знаешь, куда я пойду.

— Твое дело, — нехотя ответил Борода. — Но чтоб я тебя больше не видел.

И, повернувшись спиной к одноглазому, он вернулся в лагерь.

В воротах Борода увидел грузовик. В кабинке, рядом с шофером, сидел Иноземцев. Он открыл дверцу и тихо сказал Бороде:

— Мост на сорок седьмом километре закончим — будет порядок. А не кончим к воскресенью, башки поотрываю, и тебе первому. — И еще тише добавил: — Немцы горячку порют! Тебе понятно?

Только к одиннадцатому часу Иноземцев добрался в Плещ. Из дорожного управления он позво-

нил Шнапеку и доложил, что фон Мангейм остался на 54-м километре, в лесу, и следовало бы послать туда на всякий случай патруль егерей.

— Хорошо, — ответил Шнапек, — приходите сейчас на мою квартиру.

О чем куковала кукушка

Охота группенфюрера фон Мангейма началась с того, что он, проснувшись, выстрелил в сороку, сидевшую на сунку, и промазал.

Вестфальцы проснулись, вскочили и схватились за сражие.

Сорока улетела. Фон Мангейм постоял на поляне и приказал налить себе из термоса кофе. После того как уехал Иноzemцев, фон Мангейм почувствовал беспомощество. Уверенность молодого русского, его хладнокровие хорошо действовали на группенфюрера. По правде говоря, фон Мангейму хотелось вернуться, но мысль о том, как встретит его фельдкомендант Шнапек, остановила группенфюрера. Шнапек, конечно, поймет, почему группенфюрер потерял вкус к охоте на лося. В конце концов это он, Шнапек, придумал предлог для того, чтобы Иноzemцев уехал в самом начале охоты. И если фон Мангейм вернется, не убив этого проклятого лося, — хорошо он будет в глазах офицеров! Узкая просека лежала перед группенфюрером, по этой просеке надо было идти до тропинки, а потом добраться до моста, называемого по-русски «сечей», то есть до вырубленного леса. Здесь люди Иноzemцева видели следы лося, здесь полковник Мюльбах убил великолепное ювентине, рога которого украшает офицерское казино.

Фон Мангейм приказал шоферу оставаться на поляне у машины, а сам, натянув болотные сапоги, в сопровождении двух вестфальцев, зашагал по просеке.

Один из телохранителей, Готвальд, шел несколько впереди — ему было приказано держать автомат наготове. В сущности это была излишняя предосторожность. С тех пор, как убили Разгоно娃, в этих местах никто не слышал о партизанах.

И все же этот тоскливо шумевший лес, в котором были разбросаны заряженные винтовки, патроны, осколки снарядов, гранаты и кое-где трупы в истлевших темнозеленых куртках, наводил беспричинную пруть. Даже вестфальцы, эти сытые, здоровенные быки, в недоумении и тревоге озирались по сторонам, особенно когда просека кончилась и надо было свернуть на тропинку, где было темно и под ногами хлюпала вода.

Они шли уже больше двух часов, облака поредели, пригревало солнце, но в густом, молодом лесу не стало светлее. Где-то далеко справа прокукала кукушка. Немцы были городскими людьми, — они не знали, что кукушки осенью не кукуют. Готвальд вдруг остановился и показал рукой на землю. На влажном мху ясно виден был овальный, наполненный водой след. Дальше след терялся — тропинка была завалена пожелтевшей листвой.

Фон Мангейм заставил вестфальцев идти тише. Теперь кукушка кукукала где-то слева.

— Как здесь много этих противных, наводящих тоску птиц... — вслух подумал фон Мангейм. И, точно в ответ его мыслям, кукушка прокукала где-то сзади. Через некоторое время охотники попали в бурелом. Приходилось то и дело перепе-

зать через стволы поваленных деревьев. Фон Мангейм увидел следы лося. «Нет, этот Иноzemцев честный малый», — подумал фон Мангейм, и как раз в этот миг дважды промокнула кукушка и вслед за тем лесную тишину разбили два выстрела. Шедший впереди Готвальд вдруг стал валиться в сторону. Фон Мангейм судорожно обернулся. Второй вестфалец падал на землю лицом вперед. В то же мгновение нога Мангейма сжалась на что-то тугое, стволы деревьев полетели куда-то вверх, земля ушла из-под ног, черная бездна сомкнулась перед глазами, и он потерял сознание.

„В гостиной без огней“

Фельдкомендант Шнапек жил за городом, в дачной местности, в парке, спускающемся к реке. Дача стояла на обрыве, высокие ели, прямые аллеи, цветники, беседки на берегу — все радовало глаз в те времена, когда здесь был дом отдыха. Но с тех пор, как в Плеще появистись немцы, с тех пор, как здесь, в дачной местности, поселился фельдкомендант Шнапек, вокруг дома отдыха появилась колючая проволока и две вышки для солдат-пулеметчиков. Высокие заборы окончательно скрыли от глаз чудесный пейзаж Заречья, и трудно было понять, зачем этот любитель природы Шнапек поселился здесь. Дом, в котором он жил, снаружи совершенно походил на тюрьму.

Как только Иноzemцев переступил порог загородного дома, он услышал звуки аккордеона, женский смех и голос Шнапека, во всю силу легких орущего немецкую военную песню. Он понял, что у Шнапека происходит пирушка.

Шнапек принял Иноземцева со снисходительным и сонным видом и, поздоровавшись, втолкнул его в полутемную комнату.

— Я сегодня отдыхаю, но дело прошлое всего. Я хочу говорить с вами о деле, пока у нас обоих еще не шумит в голове.

Заложив руки за спину, он долго смотрел на Иноземцева.

— Мне пришла в голову одна мысль: что, если вы сядете на место, которое занимает Ерофеев?

— А как же дорога? — помедлив, спросил Иноземцев.

— Эта работа идет к концу. За нее возьмется Румист.

— Из меня выйдет неважный бургомистр. Я — строитель и никогда не занимался такими делами.

— Какими делами? Делами будем заниматься мы. Вы будете отдыхать. Вам следует отдохнуть после трудов.

Иноземцев молчал.

— Вы, паверное, рады? Это почетная должность, и пьяница Ерофеев недостоин занимать такой высокий пост. — Шнапек как-то загадочно произнес эти слова. — А теперь идите пить и веселиться, молодой человек.

В столовой играл на алькордеоне переводчик Лукс, кружились две девушки, немного знакомые Иноземцеву, и третья девушка, которую он очень хорошо знал, — телефонистка Тася Пискарева.

Шнапек сунул в руки Иноземцеву гитару, и молодой человек довольно приятным голосом запел романсы, который притягивался Шнапеку, романсы об утомленном солнце, нежно прощавшемся с морем. После этого переводчик завел радиолу, и начались общие танцы. Две девушки, которых привезли с

собой немцы из Таллина, были сильно навеселе. Иноземцев подхватил Тасю, и они закружились вокруг стола. Иноземцев мельком взглянул на Шнапека: его лицо с низким лбом и широким, выдвинутым вперед подбородком лоснилось, каштаны глазки светились сильным блеском, он притянул к себе девицу из Таллина и довольно грубо срошил ей волосы.

— Что вы сегодня такой мрачный? — посмеиваясь, спросила Тася у Иноземцева. Она довольно удачно представлялась пьяной.

Продолжая танцевать, они очутились в другой, полутемной комнате. Странная тень легла на лицо Иноземцева. Теперь он казался старше своих лет.

— Устал? — спросила его Тася, вкладывая какой-то особый смысл в это слово.

— А ты не устала? — в тон ей спросил Иноземцев. — Ну, потерпим еще немного.

Тася спросила:

— О чем они там говорят?

Прислушавшись, Иноземцев сказал:

— О Ерофееве. Лукс говорит, что Ерофеев кончит белой горячкой, а Шнапек полагает, что конец Ерофеева будет другим... Тебе следовало бы подуматься немецкому.

— Когда не быстро говорят, понимаю. Ты долго учился?

— Три месяца, пока был в госпитале, кое-что дала школа. Теперь Гете в подлиннике читаю... Надо сказать, — обстановка сложилась интересная.

— Пора бы сматывать удочки?

— Смотря кому.

Тася громко засмеялась и упала на тахту.

— Положительно нельзя с этой хохотушкой

танцевать, — сказал Иноземцев, возвращаясь к столу. — Рихард Францевич, когда же вы думаете назначить меня на место Ерофеева?

— За столом не говорят о делах, — обмакнув усы в шампанское, ответил Шнапек, — у немцев за столом пьют и лют, а не говорят о делах!

Иноземцев налил себе вина, выпил, взял гитару и запел:

Сияла ночь, луной был полон сад,
Сидели мы с тобой в гостиной без огней...

Наступила тишина, даже бесшабашные девицы из Таллина замолчали.

Шнапек сидел, запрокинув голову, мечтательно уставившись в потолок, иногда он грустно вздыхал.

Тася Пискарева, сидевшая на тахте в полумраке, глядела на него и думала о том, что на душе у этого мечтательного пожилого немца — тысячи человеческих жизней, тысячи безжалостно убитых детей, женщин, стариков и молодых людей в цвете сил.

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали... —

посл Иноземцев, и вдруг слезы умиления блеснули в кабаньих глазах коменданта — полковника Шнапека.

Новые действующие лица

Город Зауральск был полон толками о пожаре на заводе «Первое мая».

Не было дома в городе, где бы не говорили о разрушенных цехах, о жертвах, о том, что среди погибших оказался человек, которого никто никог-

да не видел на заводе. Огонь появился в цехе «К», вспыхнули так называемые «концы» — пакля, которой вытирают руки рабочие и бросают обычно в железный ящик. Именно в этом ящике и вспыхнуло пламя. Находившиеся поблизости люди сразу бросились к огнетушителям. Несмотря на их усилия, тут же загорелась перегородка, и спустя пять минут, все, что было деревянного в цехе, уже пылало. Если бы огонь перебросился в склад и если бы на складе находилась взрывчатая смесь, которой заряжались находящиеся на испытаний снаряды нового типа, взрыв уничтожил бы все, что находилось вокруг на расстоянии километра.

Однако этого не случилось потому, что в момент пожара на складе не было ни жгутинки взрывчатой смеси. Все было убрано, после того как необходимая для испытания партия снарядов огромной разрушительной силы была отослана на полигон. Следующую партию предполагали зарядить после того, как пройдут новые испытания на полигоне.

О пожаре на заводе больше всего говорили в рабочем поселке.

Там, среди нескольких тысяч земляков, уже второй год жил эвакуированный из Днепропетровска мастер — Федор Макарович Бугров с дочерью и сыном.

Бугров сильно тосковал по родному городу, по квартире с балконом, откуда был виден Днепр, железнодорожный мост и прибрежный парк. На балконе Бугров развел нечто вроде садочка — с зеленым плющем, с анютиными глазками и гвоздиками в ящиках вдоль перил. Бугров жил в по-

чете, старший его сын кончил кораблестроительный институт в Ленинграде, дочь Шура недавно кончила десятилетку, и только тринадцатилетний Юра беспокоил отца непоседливостью и неспособностью к техническим наукам. Мать, Елена Ивановна, тихая и болезненная женщина, умерла в трудном и долгом пути из Днепропетровска на Урал. Старик Бугров, дочь и сын Юра прожили суровую зиму в промерзшей пасквиль землянке. Шура переносла воспаление легких, старик сильно страдал от ревматизма. Но зима 1941—1942 года была тяжкой зимой для всей страны. Завод «Первое мая» только что былпущен в перестроенных складах элеватора, дни и ночи Бугров проводил в сырых и негорячих цехах. Он был инструктором молодежи, работавшей на станках-автоматах, и радовался тому, что ребята из ремесленного училища перевыполняли нормы даже тогда, когда замерзала эмульсия и уральский буран сотрясал стены цеха.

Да, это была тяжелая зима. Но ребята-ремесленники и мобилизованные девушки вместе со старыми кадротиками «вытащили» завод, и два месяца спустя заводу поручили выпустить первую партию снарядов.

Весной жизнь семьи Бугровых немного, наладилась. Старика перевели из землянки в только что отстроенные бараки, дали две комнатки. В комнатке напротив поселился спокойный жилец, мастер завода «Первое мая» Геннадий Юлианович Томашевич. Он сторонился шумной и смешливой Шуры, которая почему-то прозвала его «Мухомором», но подружился с Юром. Шуру он видел редко, она работала телеграфисткой на военном телеграфе, большей частью по ночам. Юру отец

определил на завод, и Томашевич часто засту-
пался за него, когда Федор Макарович укорял сы-
ва за леность и ротозейство.

Томашевич и Юра были большие охотники ре-
шать ребусы, головоломки и кроссовицы. Каждый раз, когда Томашевич добывал новый журнал, они с Юрай устраивались поближе к свету, и вечерами можно было слышать хриповатый бас Томашевича и ломающийся мальчишеский голос Юры:

- Персидский царь — пять букв?
- Дарий.
- Река в Индии — четыре буквы?
- Ганг!

Старину Бугрову эта игра нравилась. Слушая, как они решали кроссовицы, он узнавал наз-
вания городов, рек, имена исторических лично-
стей. Ему было приятно, что сын все же прочел
немало книжек и кой-чему научился в свои три-
надцать лет.

К Томашевичу Бугров относился уважительно, хотя знал, что это был тертый колач, искал сча-
стия даже в Америке — и так и не нашел даже на пятидесятом году жизни. Томашевич разгова-
ривал с Бугровым несколько юнисока, — старик
это чувствовал и смущался. Таким образом единственным собеседником Томашевича был Юра.

Жил Томашевич замкнутой жизнью, на заводе ни с кем не сближался, временами ходил в читальню, просиживая там подолгу. А в общем, человек был, видимо, не плохой, но суховатый и странный. Один только Юра имел право входить к нему в ком-
нату и то, конечно, в его присутствии. Юра Бугров отличался свойственными многим подросткам осо-

бенностями характера — он был любопытен, склонен ко всему необычайному и при том настроен воинственно. Словом, это был подросток военного времени, не пропускавший ни одного сообщения по радио, следивший по карте за всеми передвижениями войск, знающий типы танков и все виды вооружения нашей армии и войск противника. К тому же он был очень наблюдателен, и это не раз выводило из себя его сестру Шуру, которая была гордой девушкой и никому не позволяла вмешиваться в ее личную жизнь.

Однако, как это ни странно, резкое столкновение произошло у Томашевича не с Шурой, обзывающей его чуть не з глаза «Мухомором», а с его другом-приятелем. Произошло это следующим образом.

Однажды вечером Юра появился на пороге узенькой, похожей на жупе жесткого вагона, комната Томашевича. Томашевич не слышал его шагов, он сидел за столом и на узкой полоске бумаги тщательно выписывал длинные колонки цифр и какие-то буквы. Юра решил, что Томашевич занимается решением крестословицы, и, стараясь не шуметь, подъехал к нему. Томашевич внезапно поднял голову и, увидев Юру, страшно рассердился, выругав его соглядатаем и мальчишкой, выгнал из комнаты.

Трудно передать, как это обидело Юру. Отрыгнувшись, он вышел из комнаты и решил навсегда порвать с Томашевичем. Однако полчаса спустя Томашевич зашел к Федору Макаровичу одолжить щепотку махорки — и Юра пошел с ним на мировую.

Томашевич позвал Юру к себе, пообещал ему дать пачку старых журналов, купленных на рынке

и прошлое, воскресенье, — и Юра окончательно смешил гнев на милость. Он вошел в комнату, откуда его полчаса назад столь свирепо изгнали, и, пока Томашевич доставал из-под тюряка журналы, увидел в железной печурке смятую бумажку, ту самую, которую так тщательно исписывал цифрами и буквами Томашевич. Печка плохо разгоралась. Юра наклонился, чтобы раздуть пламя. Мальчишеское любопытство заставило его вытащить из огня обгоревшую по краям бумажку и сунуть в карман. Его очень интересовало, какую именно головоломку тайком от него решал Томашевич.

Тем временем Томашевич торжественно извлек пачку прошлогодних иллюстрированных журналов и со всякими предостережениями и предупреждениями вручил их Юре, взяв с него слово, что он возвратит их хозяину не позднее завтрашнего дня.

Улегшись на сундук, Юра занялся журналами, но тут же вспомнил о бумажке. Он тщательно разгладил ее и стал изучать, но, несмотря на солидный опыт в области решения ребусов, головоломок и крестословиц, ничего не понял в этих цифрах и буквах, выписанных в четыре колонки на узком листке бумаги.

— Чего делаешь? — небрежно спросила Юру сестра Шура, — она собиралась на работу. И так как и ее временами развлекали «головоломки» упражнения Юры, она заглянула в бумажку, которую тот изучал.

Не без удивления она посмотрела на брата:

— Юрка! Это ж шифровка! Откуда ты это взял?

— Какая там шифровка? Чего ты порешь? — в свою очередь удивился Юра.

Но недаром Шура работала на военном телегра-

ф. Это действительно была тайнопись, шифр — шифрованная записка.

Вскоре произошел случай, имевший прямую связь с открытием, которое сделала Шура Бугрова.

Однажды днем в читальную Дворца культуры вошел коротко остриженный, бритый человек с прозрачно-голубыми близорукими глазами. Железная складная линейка торчала из кармана его блузы. Он прошел в читальный зал, просмотрел газеты, потом подошел к Соне Сосновой и попросил дать ему 22-й том Энциклопедического словаря Броунгауз-Эфрон. Соня машинально поискала на полке том, попросила у посетителя читальни удостоверение личности, выдала книгу и вдруг вспомнила, о чем просил ее Шорин. Она поглядела на удостоверение личности, которое оставил посетитель, и прочитала имя, отчество и фамилию: «Геннадий Юлианович Томашевич».

Она поискала номер телефона Шорина и позвонила ему.

- Вы не забыли то, о чем вы меня просили?
- Конечно, не забыл.
- Ну вот — это случилось.
- Очень хорошо. Я скоро буду у вас.

Человек по фамилии Томашевич минут пятнадцать проглядывал том словаря, потом вернул его и ушел, получив обратно свое удостоверение.

Соня была немного удивлена тем обстоятельством, что Шорин пришел только к вечеру. Он попросил у нее все тот же злополучный том, очень внимательно перелистал его, нашел нужные страницы и стал разглядывать их через лупу, которую вынул из кармана жилета.

— Посмотрите, — сказал Шорин, показывая Соне раскрытую книгу.

Соня посмотрела и пожала плечами. Тогда Шорин показал ей еле заметные следы резинки, обычновенной школьной резинки. Какие-то пометки были в книге, но они были аккуратно стерты.

— Вы не спрашиваете фамилии человека, который просил у меня этот том словаря? — сказала Соня.

— Фамилия — Томашевич?

Соня изумленно уставилась на Шорина.

Помолчав немного, Шорин сказал:

— Я должен поблагодарить вас. Прошу вас продолжать интересоваться духовными запросами гражданина Томашевича.

Несмотря на обычный, непроницаемый, несколько рассеянный вид Шорина, Соня показалось, что он был чем-то очень обрадован.

«Кажется, назревают события...»

Первым ощущением груптенфюрера, когда он стал приходить в себя, был холод в затылке. Затем фон Мангейм почувствовал беспокойство от прикосновения чьих-то пальцев к его вискам. Фон Мангейм открыл глаза и увидел существо в белом.

Он понял, что это врач, а не ангел, потому что ангелы, как известно, не носят очков в роговой оправе. И решил, что не убит, а только ранен. С трудом повернув голову, фон Мангейм увидел сидевшего у изголовья постели Иноземцева. Иноземцев был единственным человеком, которого допустили к груптенфюреру, потому что он, Иноземцев, оказался спасителем жизни фон Мангейма. Это Иноземцев послал патруль егерей на 54-й километр, это его люди привели егерей на место не-

удачной охоты. Патруль немного запоздал, два вестфальца лежали мертвые, но группенфюрер был жив, только оглушен. Партизаны протащили его метров двести по просеке, а затем бросили и скрылись, когда егеря открыли бешеный огонь.

Тихонько, шепотом, рассказал обо всем этом Иноземцев группенфюреру. Тот лежал с благодарной улыбкой на лице.

— Я просил вас подождать моего возвращения, — сказал, повидимому, искренно огорченный происшествием, Иноземцев, — это была большая неосторожность...

— Виноват во всем Шнапек... Он напрасно хвастался. Допустим — Разгонов убит, но ведь остались его люди... Зачем вы понадобились тогда столь... экстренно Шнапеку?

— Он назначает меня бургомистром вместо Ерофеева.

— Вместо Ерофеева? — в изумлении повторил фон Мангейм.

— Это почетная должность, буду вроде губернатора...

«Глупец!» — подумал фон Мангейм.

— Я думаю, что этого не будет... Дорога не кончена. Нет, этого не будет. Вы нам будете нужны даже после войны. Здесь будет много дела... Лесные хозяйства, например...

И слабым мановением руки он дал Иноземцеву понять, что аудиенция кончилась.

Кроме Иноземцева, только Тася Пискарева пользовалась особым расположением со стороны немцев, пребывавших в городе Плеще. Ее допускали на редкие пирушки у коменданта — полковника Шнапека, хотя Тася Пискарева была не слишком хороша собой. До войны она работала телефони-

сткой на узле связи и ничем не привлекала к себе внимания. Теперь же, при немцах, она жила в штабном городке, в лучшей части города, и немцы охраняли ее, почти как Ерофеева.

В Плещке говорили, что Тася оказала большие услуги немцам. Гибель Разгонова, убитого немцами на разъезде 132-й версты, связывали с внезапным возвышением Таси Пискаревой. Сто тысяч, обещанных немцами за голову Разгонова, по слухам, были уплачены Тасе. Но все это были слухи, разговоры. Достоверно было только то, что Тася пользовалась особым благорасположением немцев. Она ездила в личной машине коменданта, с русскими почти не общалась; из родных Таси в городе жил только брат, инвалид, у которого были парализованы ноги. Иногда Тася заезжала к нему, привозила кое-что из снеди, но оставалась не долго. И все время, пока она была у брата, ефрейтор сидел на скамейке у крыльца — до того ценили жизнь Таси.

«Копейки не дам за жизнь Таськи», — сплюну сказал как-то железнодорожник Кошелев и, пропрезвившись, поспешил скрыться, потому что слова его дошли до ушей немцев.

В один ноябрьский вечер коменданту Шнапеку доложили, что выехавшая в город с утра Тася не возвратилась. Кинулись к брату, но двери его квартиры оказались запертыми. Окно в комнату инвалида было полуоткрыто. Никаких следов Таси и брата ее не было обнаружено. Машину, в которой уехала Тася, видели в сумерки у офицерского казино, затем следы ее терялись. Через сутки опрокинутую машину нашли под мостом, шофер и ефрейтор лежали тут же, убитые ножом-теса.

ком, рядом на земле лежал изорванный шарф Таси и вывороченная ее сумочка.

Стали разыскивать железнодорожника, который сказал: «Копейки не дам за жизнь Таськи», взяли на допрос его родных. Для Шапека не было сомнения в том, что Тасе отомстили за Разгоно娃. Гибель Таси не очень огорчила немцев, хотя веселый характер ее развлекал даже хмурого Шапека. Другое тревожило немцев. Случай на охоте с группенфюрером фон Мангеймом и смерть Таси Пискаревой доказывали, что после трех месяцев относительного спокойствия партизаны опять показали, на что они способны. Нужно было принять строгие, решительные меры, а группенфюрер фон Мангейм, командовавший силами ОС в этом районе, после неприятного случая на охоте впал в страшную апатию. Все это беспокоило и раздражало коменданта.

В то время как охранная полиция, полевая жандармерия, тайная полиция искали хоть каких-нибудь следов похитителей Таси, в семидесяти километрах от Плецка, на лесной поляне, в шалаше сидели двое — Иноzemцев и живая и невредимая Тася Пискарева, метрах в пятидесяти от них, прикрытый еловыми ветками, стоял самолет «У-2». Летчик сидя спал в самолете, завернувшись в плащ-шалатку. Иногда он просыпался, глядел на небо и снова начинал дремать. Тем временем в шалаше происходил тихий разговор.

— Ты должна быть довольна, — говорил Иноzemцов, задумчиво глядя на дымящий огонек коптилки, — ты должна быть довольна, у тебя была не легкая жизнь все это время.

— А у тебя? — сказала Тася.

Резкие морщины легли у переносицы и у рта Иноzemцева.

— Я был горожанин, типичный москвич. Начал я войну в парашютно-десантных войсках, сразу хватил лиха: сто семнадцать человек нас осталось, когда мы вышли с оружием в руках из окружения. Потом было ранение и еще ранение. Восемь месяцев в лесу. Городской человек попадает в лес... Зимние ночи, костров разводить нельзя, метьль, мороз, голод, ожидание самолета с пищей, а главное — с патронами. Словом, — никакой романтики, суровая, полная лишений жизнь. И это еще не главное испытание.

— А что, по-твоему, главное?

— Сразу об этом не скажешь... Видишь ли, Лев Толстой под фамилией Долохова вывел в «Войне и мире» партизана Фигнера, Александра Самойловича Фигнера. Это был жестокий, гордый, страшный характер. Фигнер был хорошим офицером — артиллеристом, но попросился у Кутузова отпустить его в Москву. Москва в то время была в руках у французов. Фигнер собрал разорванных, потерявших родных и близких людей. Он лестреблял французов в самой Москве. Потом лестрияеля прогнали, война переносилась в Западную Европу. Фигнер появляется в оккупированном теми же французами Далице. Он собрал отряд из бывших пленных испанцев и русских и по-партизански воевал у французов в тылу. За этим охотились, голову его оценили, что преследовали лучшие кавалерийские полки. В конце концов Фигнера и его людей окружили близ города Десау. Фигнер бросился в Эльбу, поплыл. Конец его похож на конец Чапаева: его ранили, и он утонул в реке. Какая необыкновенная судьба! Правда?

— Да, но какая же тут связь...

— А вот послушай дальше... В годы юности Фигнер был в Италии с русской эскадрой и по-итальянски говорил, как по-русски. И вот в то время, когда его искали, когда голова его была оценена, он проник во французский штаб под видом итальянского офицера. Мало того, он вошел в доверие к французскому генералу Рашпу, и Рашп отправил его, русского разведчика, с секретными донесениями в Италию. Конечно, донесения попали прямо в русский генеральный штаб.

— Вот это человек! — воскликнула Тася.

— Живя среди французов, Фигнер боялся одного, как бы не проговориться во сне, как бы не заговорить по-русски. И случалось, что не спал по неделям... Когда уж очень было трудно, я думал об этом человеке и спрашивал себя: «Что же, неужто ты хуже Александра Самойловича?»

Иноземцев улыбнулся, в глазах мелькнул веселый огонек, потом он снова нахмурился.

— Положение у нас с тобой создалось сложное. До сих пор я использовал то, что Мангейм грызся со Шнапеком, можно было как-то лавировать... Мангейм — сила, и Шнапек уступал ему. А сейчас Мангейм как-то обмяк, а комондант уперся и стоит на своем — сует меня на место Ерофеева. Кажется, назревают события...

— А если тебе сегодня кончить это — и в лэс?

— Рановато. Срываются одна интересная операция, я готовил ее три месяца. Стыдно не довести до конца.

Они помолчали. Тася вытащила из волос спицку и поправила фитиль коптилки. Иноземцевглянулся из шалаша. Падал мокрый снег, погода была неуютная.

— Для меня все это кончается, — сказала Тася. — Завтра я буду на «большой земле», среди своих, и не надо будет фигурять перед немцами, и не увижу я их подлых рож! И все-таки я не понимаю, почему ты меня отсылаешь, ведь об этом самом Краузе можно было послать донесение? — Она продолжала с легкой обидой в голосе: — Или ты в самом деле думаешь, что я совсем сломалась и больше ни на что не гожусь?

Иноземцев достал из полевой сумки маленькую, свернутую гармоникой записку, ее можно было спрятать между указательным и средним пальцами.

— Вот что я тебе скажу, Тася... Когда пошел слух о том, что немцы убили Разгонова, — народ не говорил. Я сам слышал, как матери говорили детям, что Разгонов жив, что немцы убили не Разгонова и его адъютанта, а двух партизанских разведчиков. Немцам будто было стыдно сознаться в ошибке, и они на всю область кричали, что Разгонов убит. В общем народ говорил правду. Разница только в том, что убили немцы не наших людей, а двух предателей — собакам собачья смерть. И сделано это было с твоей помощью. Разгонова считают мертвым, три месяца о нем — ни слуху, ни духу. Теперь ты посуди — что с тобой сделают немцы, если Разгонов воскреснет. В день, когда он воскреснет, — ты умрешь. Зачем это надо? Ты и так много терпела, люди оскорбляли тебя, женщины плевали тебе вслед, все считают, что ты выдала Разгонова...

— Да, но, когда мне плевали вслед, я в глубине души была рада! Это же хорошо, когда народ так ненавидит предателей!.. Конечно, испытывать такую ненависть, когда ни в чем не повинна, тяжко.

— Ну, вот и отдохни, — он вложил ей в руку записочку, и она крепко сжала пальцы в кулак.

— Еще вопрос: когда воскреснет Разгонов?

— Это зависит от обстановки... Своевременно или несколько позже, как говорится... А личное поручение не забудешь?

— Ну, еще бы!

Когда стало светать, захлопал мотор самолета, Тася и Илоземцев вышли на поляну. Облака стояли высоко, снег перестал. Илоземцев помог Тасе подняться и сесть в самолет позади летчика.

— Ни шуха, ни пера!

— И тебе, Тася.

Они обнялись.

Самолет побежал по поляне, оторвался от земли, прошел над верхушками елей, сделал круг и ушел на восток.

Несколько мгновений Илоземцев глядел ему вслед. Стук мотора затих в облаках. Илоземцев повернулся к шалашу:

— Борода! Даешь «Абрека».

В кустах послышалось Фырканье коня и мягкое шлепанье подков по земле.

Подполковник Смирнов

Андрей Андреевич Хлебников не то чтобы привык к мысли о своем одиночестве, но его методичная, размеренная трудовая жизнь как-то постепенно успокоила его. Он засыпал с мыслью, что следующий день его жизни размечен по часам, что у него нет времени для грустных размышлений. Лекции, консультации и совещания... А немногие свободные часы он посвятит работе над книгой — итогом его тридцатипятилетних трудов.

От житейских забот он был избавлен — нашлась старушка-соседка, она вела его несложные хозяйственные дела. Изредка приходил сосед, профессор сельскохозяйственной академии, считавший себя знатоком по международной политике, и обсуждал с Андреем Андреевичем за шахматами положение на фронте и международные проблемы. Софья аккуратно писала раз в месяц, и так же аккуратно отвечал ей Андрей Андреевич. Жизнь была тихая, даже телефон не слишком беспокоил Андрея Андреевича, кроме одного случая, когда он однажды зазвонил поздно ночью. Впрочем, когда Андрей Андреевич отозвался, никто не ответил, — очевидно, позвонили по ошибке.

Размышляя здраво, Андрей Андреевич не мог жаловаться на свое одиночество, тем более, что ученики не забывали его. Среди них были уже известные стране люди. Одни все еще приходили к нему за советами, другие для того, чтобы просто поглядеть на своего учителя, узнать, не терпит ли он в чем нужды в это суровое время. Поэтому Андрей Андреевич несколько не удивился, когда к нему пришел однажды молодой подполковник, один из недавних его учеников — Николай Дмитриевич Смирнов.

Смирнов приехал с Западного фронта, рассказывал живо и увлекательно о том, что видел, а видел он много. Великодушие, благородство и смелость наших бойцов, низость, жестокость и подлость врага — все повидал на войне этот человек, и Андрей Андреевич понял, почему появилась седина в висках подполковника.

Когда они выпили чаю с красным вином и вспомнили общих знакомых, Смирнов сказал:

— Однако у вас превосходная память, дорогой

учитель... Сколько людей, можно сказать, прошло через ваши руки — и всех вы помните, вот что удивительно.

— Ну, далеко не всех. За тридцать пять лет разве всех упомнишь?

— Кстати, вы были доцентом в Рижском политехникуме?

— Как же, три года: с девяносто седьмого по одиннадцатый год.

— А не помнится вам из студентов старшего курса такая фамилия — Краузе, Густав Максимилианович Краузе?

— Краузе? Позвольте, Краузе... Он когда кончал политехникум?

— Именно в те годы.

— Краузе... Нет, вы напрасно хвастили меня за память. Да ведь тридцать лет прошло — это не шутка.

— Конечно.

— Но вот был у меня инженер Головин, тоже рижанин и как раз тех лет. Он поможе и, вероятно, помнит.

— Головин? Он — москвич?

— Старый москвич. Теперь работает на Урале.

— И учился в Риге, в политехникуме?

— Он недавно ко мне заходил. Но, насколько я помню, он кончал курс, когда я уже покидал Ригу, так что, собственно, учеником моим я его считать не могу. Скорее добрым знакомым.

Тема разговора изменилась. Смирнов спросил Андрея Андреевича о сыне, и старику стало грустно. И подполковник понял, что он коснулся неожиданной раны.

Они поговорили еще четверть часа, и Смирнов стал прощаться.

— Вы что же, в инженерных войсках? — поинтересовался Андрей Андреевич.

— Нет, не в инженерных...

— Как же так вышло?

— Это целая история. Разрешите рассказать вам в следующий раз, как-нибудь при случае.

И, крепко пожав руку Андрею Андреевичу, подполковник пожелал ему доброй ночи.

«Главное — помни его...»

Соня почти месяц не встречала Георгия Ивановича Головина и даже обрадовалась, когда увидела его на остановке трамвая. Он тоже, как говорится, изъявил удовольствие по поводу встречи, хотя был менее, чем обычно, любезен. Все это казалось понятным Соне. Головин рассказал ей, что сейчас для него самая горячая пора — комиссия производит последние испытания заменителей цветных металлов, вот почему он перестал бывать в читальне.

— Я все время чувствую себя немного неловко, когда встречаю вас...

— Почему?

— Вспоминается нелемый разговор, который я затеял с вами в вагоне. Как я, старый дурак, мог подумать, что вы, молодая девушка...

— Пустяки... Я давно все забыла.

— Поймите, — вослияясь, говорил Головин, — только полное одиночество могло толкнуть меня... Русский человек: что на уме, то на языке...

— Я понимаю.

— И не обижаетесь?

— Нет, никаколько не обижаемся.

— Ну, я рад, что мы объяснились. В читальне

вокруг всегда люди, в театре вы были не одна... Буду рад, если заглянете ко мне. Мы соседи, я — в доме сорок четыре, а вы — в доме сорок шесть. Непременно приходите. Как-нибудь я зайду за вами в читальню...

Подходил трамвай; пожав руку Соне, Головин вскочил в вагон. «Вот странно, — подумала Соня, — человек потерял всех своих близких — и как легко все это переносит, даже склонен ухаживать за девушкиами. Может быть, именно так и надо жить, а не как я живу...»

Она решила идти пошком и минут через сорок дошла до своего дома. Ее удивило, что калитка была открыта, она поднялась на крыльце, постучала в окно. Ей открыла соседка, — в полумраке коридора она увидела кого-то в шинели. Женский голос назвал ее имя и фамилию.

— Это я, — ответила Соня.

— Я к вам, — сказала девушка в военной форме.

Соня открыла дверь в свою комнату и впустила гостью. Она увидела девушку с пышными пепельными волосами и некрасивым, но энергичным лицом и очень живыми серыми глазами.

— Вы меня не знаете, — снимая берет, сказала гостья, — я пришла к вам узнать: нет ли у вас вестей о Жене Хлебникове?

Наступило довольно долгое молчание.

— Садитесь, — наконец вымолвила Соня, — снимите шинель, здесь тепло.

— Спасибо... Мне сказали, что вы, только вы можете мне сказать, где он и что с ним... Я видела его не так давно. Потом как-то странно получилось: он в полчаса собрался и уехал — и с тех пор о нем ни стиху, ни духу.

— Женя погиб, — сказала Соня.

— Погиб? — всплеснув руками, воскликнула девушка. — Господи, а я не знала! Как нехорошо получилось. Шла сюда и думала, что у вас все благополучно. Я знаю вас по рассказам Жени... Знаете, как это бывает на фронте, — люди рассказывают друг другу, кого они оставили здесь, в тылу, рассказывают о самом дорогом.

Гостья замолчала и внимательно посмотрела на Соню.

— И давно это стало известно?

— Три месяца.

— Ну, знаешь, может быть, это еще не факт. Бывают ошибки.

— Я тоже надеялась, — тихо сказала Соня, — но с каждым днем уходит надежда.

Девушка продолжала смотреть на Соню долгим и внимательным взглядом.

— Я была на вашей старой квартире в Москве, — сказали, что ты выбыла, неизвестно куда. А в домовой книге значится — выбыла в Зауральск. А у меня в Зауральске как раз родичи. Мне твоя разыскали. Да, я и не познакомилась как следует: Люся, Игнатьева — моя фамилия...

Она вдруг встала с сундука, на который присела, подошла вплотную к Соне и положила ей руки на плечи.

— Милая ты моя, — вдруг очень ласково сказала она, — милая моя, главное — не забывай Женю, главное — помни его.

И они обнялись.

Уравнение с одним неизвестным

Ослепительно голубое небо и холодное блистающее солнце низко сияло над городом, за ночь на мело высокие снежные холмы, они дымились белым дымком под сильным морозным ветром.

«Пожалуй, будет буран», — подумал Шорин, потом вернулся к прежним мыслям.

— Картина получается довольно ясная. Вот анализ вещества, найденного в огнетушителе, — это зажигательная смесь.

Офицер, подполковник, к которому относились эти слова, нарисовал внутри палиросной коробки треугольник и вписал в него вопросительный знак.

— Хитро придумано — заменить обычную смесь, которой заряжают огнетушитель, — зажигательной смесью, дающей сильное пламя и дым. Дым — для того, чтобы выкурить людей из цеха. Все, тушившие пожар, говорили, что они почти ничего не видели — у них слезились от дыма глаза. И, конечно, грудно было рассмотреть, что один из огнетушителей, который должен гасить пламя, поджигает все вокруг.

— Это все очень правдоподобно, — сказал подполковник, — огнетушитель был заряжен зажигательной смесью, но дым дали дымовые шашки, заранее положенные в малоприметных местах. Они дали едкий дым, мешавший тушить пожар. Кстати, когда заряжали огнетушители?

— За восемнадцать дней до пожара. Все они оказались в полном порядке, только один был впоследствии подменен.

— Подменен Томашевичем?

— Да. Томашевич был исполнитель.

Давайте разберем улики против Томашевича.

— Ко мне пришла Александра Федоровна Бугрова, она работает на военном телеграфе. Она принесла мне бумажку, которая оказалась шифрованной запиской. Бумажку нашел в печке Томашевича ее тринадцатилетний брат. Мы расшифровали записку, то есть то, что от нее осталось, — она обгорела. Сохранились слова «огнегушитель», «цех К» и указание на двадцать второй том словаря Брокгауз-Эфрон. Все это соответствовало тем данным, которые были в моем распоряжении. Короче говоря, мы раскрыли, таким образом получает инструкции Томашевич. Каковы дальнейшие планы этой шайки — установить не удалось... Мы могли бы арестовать Томашевича, но что бы это дало? Мы бы спугнули всю шайку раньше времени. Томашевич на свободе, но живет вроде как под стеклянным колпаком.

— Какая была техника связи?

— Неизвестно. Некто, — назовем его некто, — приходил в читальную, получал нужную ему книгу. Какую именно книгу он выбрал в первом случае — это не установлено, — во втором случае это был энциклопедический словарь, том двадцать второй, статья «Железные дороги». Он еле заметно отмечал карандашом цифры — там имеются в статьях цифровые данные. Потом приходил Томашевич, списывал эти цифры и обыкновенной резинкой стирал карандашные отметки. В книге не оставалось ни малейшего следа. Затем Томашевич отправлялся домой и с помощью ключа расшифровывал помеченные в словаре цифры. Там же, в шифрованной записке, было указание, какая книга будет использована в следующий раз.

— А первую записку вы не перехватили?

— Нет. Во втором случае мне немножко помогла Соснова, заведующая библиотекой. Первую записку Томашевич получил еще до ее приезда.

Тут в разговор вмешалось третье лицо, находившееся в комнате и до сих пор хранившее молчание. Это была молодая девушка в военной форме:

— Вы уж извините мои, — сказала она, — по-моему, Томашевич и Краузе — одно и то же лицо.

Подполковник взглянул на Шорина.

— Это предположение имело бы под собой почву, если бы не одно обстоятельство...

— Какое обстоятельство?

— Дело в том, товарищ Пискарева, что Томашевич никогда не был на оккупированной немцами территории и уже девять лет безвыездно живет в городе Зауральске. Это факт, не подлежащий никакому сомнению.

Конец одной карьеры

Давно уже жители Плецка не видели своего бургомистра, «господина Ерофеева», как его называли немцы. Одни говорили, что Ерофеев допился до белой горячки, другие, что Ерофеев пошел в гору и немцы вывезли его в Германию и даже показывали самому Фюреру. Однако приказы населению попрежнему подпишывал Ерофеев, и не одна матеря проклинала луду, и не один разоренный, оскорбленный, лишенный семьи человек клялся убить эту собаку своими руками, если к тому представится случай. Оставшееся в Плецке население было изумлено, когда немцы объявили о собрании представителей населения в местном кинотеатре «Светоч». За два дня до собрания полицейские ходили по домам и оповещали, что

«старший в доме» должен явиться в кинотеатр «Светоч» в воскресенье, в три часа дня. Не только горожан заставили прийти немцы, но и жителей окрестных селений. Никто не мог понять, для чего это понадобилось немцам, и ничего хорошего от этого приглашения не ждали.

Когда зал кинотеатра был полон, на трибуну поднялся переводчик Лукс, которого хорошо знали жители Плещка, и негромким голосом начал читать следующее:

— «Господа жители Плещка и господа земледельцы. В последнее время германское командование получило много жалоб на действия местного бургомистра господина Владимира Ивановича Ерофеева. Назначенные германским командованием опытные юристы, а также чиновники юстиции рассмотрели жалобы местного населения и дали свой отзыв, из которого следует, что бургомистр и председатель районной управы Владимир Иванович Ерофеев допустил многие незаконные действия, которые вызвали справедливые упреки населения. Поэтому германское командование решило уволить Владимира Ивановича Ерофеева и предоставить местному населению самому решить, какому наказанию следует подвергнуть Ерофеева за его незаконные поступки».

Переводчик кончил чтение. Многие плохо слышали, что он читал. В зале возник легкий шум, — люди спрашивали друг у друга, что произошло и о чем читал переводчик. В это время послышался топот салог и четыре немецких солдата вывели обросшего бородой, опухшего человека с полузакрытыми глазами и безучастным выражением лица. Он был одет в хорошее пальто с каракулевым воротником и держал в руках каракулевую

шапку. В этом человеке с трудом можно было узнать бургомистра Ерофеева.

Наступила мертвая тишина, слышно было только хриплое дыхание Ерофеева.

Сидевший в боковой ложе комендант Шнапек позвал переводчика и что-то сказал ему по-немецки. Переводчик вышел вперед и, насколько мог, громко сказал, обращаясь к людям, сидевшим в зале:

— Какого наказания достоин бывший бургомистр Ерофеев?

Ни один голос не нарушил мертвого молчания. Люди в изумлении глядели друг на друга.

— Я повторяю, — почти закричал переводчик, — какого наказания достоин бывший бургомистр Ерофеев?

И снова была тишина, люди, созванные немцами, старались понять тайный смысл этой страшной комедии.

Фон Мангейм, усмехаясь, сказал коменданту:

— Я говорил вам, что не надо этих театральных эффектов.

— Я повторяю, — со злым лицом закричал еще громче переводчик, — я повторяю...

Но его прервал тонкий срывающийся голос: какой-то человек с бабьим лицом выскоцил вперед и крикнул:

— Смерть ему, смерть!

Фон Мангейм вспомнил, что этого человека с бабьим лицом он не один раз видел у Шнапека. Солдаты вязли за локти Ерофеева. Широко открыв глаза, он с изумлением посмотрел по сторонам. Люди видели, как он поднял руку, как запечелились его губы, какой-то хриплый стон вырвался из его груди, но солдат толкнул его в

спину, и Ерофеев, махнув рукой, пошел, волоча ноги, к дверям все с тем же выражением тупого изумления на опухшем, сонном лице.

Жители города, приехавшие из окрестных селений крестьяне торопливо уходили из зала. В дверях получилась давка, все спешили поскорее выбраться наружу. Последние вышедшие из кинотеатра люди услышали выстрел и увидели в скверико на снегу труп человека в черном пальто с каракулевым воротником. Они сразу поняли, что это был труп того, кто несколько минут назад стоял перед ними, сонный, безучастный ко всему, что происходит. Только тогда жители города Плещка поняли, что немцы избавились от «господина бургомистра» Ерофеева, который стал им ненужен.

События в разгаре

Единственный человек, который пожалел о предвзятой смерти Ерофеева, был русский инженер Иноземцев. Постройка дороги подходила к концу. Нужна была чудодейственная сила, чтобы уложить 140 километров дороги в непроходимых болотах и топиях. Комендант Шнапек и фон Малгейм первыми проехали по этой дороге со скоростью ста километров в час. Мутная коричневая вода стояла по обеим сторонам дороги, золотые стволы сосен поднимались прямо из воды. Местами дорога расширялась, образуя поляну. На поляне дымили костры, и у костров стояли и сидели человекоподобные существа, руками которых была построена дорога. Дорога поднималась в гору и упиралась в широкую и глубокую реку. Через нее был перекинут новый, выпнутый дугой,

деревянный мост. Перед въездом на мост была построена арка из березы — радующего немецкий глаз дерева. Это тоже понравилось высокому начальству. Автомобиль миновал арку и остановился.

По ту сторону моста стоял щеголевато одетый Иноземцев, приложив руку к козырьку меховой шапки. Он проводил гостей в павильон с остроконечной вышкой, выслушал их приказания относительно церемониала встречи командира корпуса, которому фон Мангейм будет докладывать об окончании постройки стратегически важной дороги. Затем оба — фон Мангейм и Шнапек уехали в очень хорошем настроении.

— Генерал будет доволен, — произнес Шнапек, сидя рядом с фон Мангеймом в быстро мчавшейся машине.

— Еще бы! Это будет дорога наступления... Теперь вы знаете цену этому молодому русскому. Мы обращались с ним хорошо, и это дало хорошие результаты. С ними надо уметь обращаться, даже хвалить их, когда они этого заслуживают.

Комендант истоска посмотрел на группенфюрера.

— Должен вам сказать, мой друг, что если кто и заслужил веревку, то именно этот молодой человек.

— Вы говорите серьезно?

— Абсолютно серьезно. Вообще я не умею шутить, вы это знаете.

— Почему вы так думаете? Вы считаете его опасным?

Раскуривая сигару, фон Шнапек ронял слова:

— Дорогой друг, неужели... вы не понимаете... почему эти люди работают на него, как черти? Они знают, что он нас ненавидит ничуть не меньше, чем они.

— Ну, это надо доказать.

— Милый Мангейм, нет никакого сомнения — он связан с партизанами, то есть с остатками партизан. Вот почему ваша охота кончилась для вас благополучно.

— Это невозможно!

— Я в этом уверен. Он знал, что вас караулят партизаны. За это одно его следует повесить.

— Но тогда почему он позаботился о том, чтобы выслать патруль егерей?

— Ему нужно было отвести от себя подозрения. Он ведет двойную игру. Он боится партизан и из страха им помогает. В то же время, чтобы спасти свою голову, он делает все, чтобы выслушаться перед нами... А случай с Тасей Пискаревой? Мы потеряли человека, который доказал нам свою преданность. Это очень досадно. Хотите пари на коробку манильских сигар, что и в этом похищении замешан Иноземцев? Он понял, что она его рано или поздно предаст, и разделился с ней.

Некоторое время они ехали молча, наконец Фон Мангейм сказал:

— Все, что вы говорите, похоже на правду, особенно если иметь в виду коварство восточных народов. Во всяком случае он — пока! — приносит нам большую пользу.

— Именно потому я его терпел. Но так продолжаться больше не может. Я знал, что вы против назначения его бургомистром вместо Ерофеева.

— Это все равно, что осудить человека на смерть.

— В конце концов — да. Но не в этом дело. Меня интересует, как этот хитрец поступит в ту минуту, когда под известными вам приказами

ему придется подписать свое имя. До сих пор он довольно ловко лавировал... Что он делал? Строил дороги. Дороги всегда нужны и всем нужны. А теперь его именем будут уничтожать его родичей. Это ему не может понравиться. Именно тут ему придется показать свое лицо.

Они ехали очень быстро, на горизонте уже показалась колокольня с пробитым снарядами куполом сельской церкви на полдороге от Плецка.

— Ну, что ж, — задумчиво произнес фон Мангейм, — вы меня почти убедили... Право, было бы недостойно, если бы я боролся за жизнь этого молодого варвара. В конце концов, чем меньше их будет на земле, тем лучше для расы господ.

На следующее утро после этого разговора Иноземцев узнал, что на станции его ждет дрезина. Шнапек прислал за ним переводчика Лукс. Переводчик должен был сопровождать нового бургомистра Плецка в хозяйственное управление области, где он получит инструкции высокого начальства.

Иноземцев не выразил ни малейшего удивления, он только сказал посланному за ним солдату, что должен отдать необходимые распоряжения, привести себя в порядок, побриться. На это уйдет не более часа. Действительно, через час он отправился на станцию и увидел на первом пути автодрезину и возле нее переводчика Лукс. Это был пожилой, склеротический немец, до революции он ведал представительством крутшовских земледельческих машин в городе Ростове-на-Дону. Иноземцева провожал на станцию какой-то бородатый русский, с которым Иноземцев простился, обнявшись. Луксу показалось, что Иноземцев при этом шептался с бородатым.

Иноземцев сел рядом с Луксом, солдат рядом с водителем автодрезины, и они покатили по рельсам с большой быстротой. Мелькали деревья, телеграфные столбы, шалаши дорожной охраны. Под откосом лежали скелеты обгорелых вагонов, пущенных под откос партизанами. Иноземцеву была знакома эта дорога. На 37-м километре его внимание привлек столб дыма, поднимавшийся где-то в стороне от дороги. Вероятно, кто-то жег в лесу костер. Странная улыбка появилась на губах Иноземцева. Он достал сигарету и попросил у Лукса огня. Промелькнул столб с цифрой «38». Здесь, на 88-м километре, железнодорожное полотно пересекали болота и трясины. Лукс достал из кармана зажигалку и дважды щелкнул, выбивая искру. Иноземцев закурил, мысленно отсчитывая секунды: двадцать одна, двадцать две, двадцать три... На двадцать четвертой секунде он вдруг откалил дверь автодрезины, схватил за горло Лукса, со всей силой толкнул его в бок и вылетел вместе с ним из автодрезины. Дрезина умчалась вперед со скоростью девяноста километров в час, а два человека свалились в болото.

Иноземцев не мог видеть, что, пролетев триста-четыреста метров, дрезина стала замедлять ход. Вдруг желтый огонь блеснул между рельсов — и дрезина и люди в ней окутались дымом и взлетели на воздух, затем обломки и клочья мяса рухнули в нескольких десятках метров от места взрыва...

Иноземцев услышал взрыв, пальцы его разжаллись, он выпустил горло переводчика. Он убедился, что карьера пожилого немца кончилась и ему больше никогда не придется исполнять обязанности переводчика при комендантстве города Плецк.

Иноземцев попробовал встать на ноги, ноги его ушли в болото до колен, он пошевелился и напряг силы, болото крепко держало его. Он понял, что попал в трясину. Это его отчасти устраивало — через четверть часа тело перевозчика засосет грязная жижа и вряд ли его когда-нибудь разыщут. Но выбраться из трясины самому было не легко. Ступать по вязкой, засасывающей почве было почти невозможно. Иноземцеву пришлось лечь и, напрягая всю силу мускулов, медленно ползти вперед. Только минут через пятнадцать он выполз на сухое место и углубился в лес. Он был весь в липкой черной грязи, платье его было изорвано. Прежде всего надо было подумать о том чтобы принять человеческий вид, — в лучшем случае он выглядел как болотный чорт. Он старался уйти как можно дальше от железной дороги — дорожная охрана после взрыва, несомненно, подняла тревогу. Иноземцев был недоволен собой, он выбросился из дрезины несколько раньше времени — это люди, взорвавшие дрезину, остались где-то в стороне. Пока он размышлял обо всем этом, послышался скрип колес и голос человека, покидающего лошадь. Иноземцев насторожился, увидев на просеке человека в ватнике и шапке-ушанке, который правил лошадью, сидя на возу, нагруженном свежесрубленными березками.

Немного подумав и присмотревшись к вознице, Иноземцев вышел на дорогу. Возница остановился и в изумлении глядел на незнакомца, с головы до ног вымазанного черной грязью.

— Ну, дядя, — сказал Иноземцев, — вот какое дело: пристрой меня как-нибудь на возу, да так, чтобы чужой не увидал. Понятно?

— Понятно, — сердито сказал возница.

Он скинул несколько молодых берез. Иноземцев без труда улегся, возница, как мог, прикрыл его хворостом и теми же молодыми березками. В таком виде Иноземцев доехал до деревни, название которой он узнал впоследствии. Он вылез из-под хвороста, когда стемнело. Хозяин успел истопить баню. Это было очень жестко после грязевой ванны в трясине. Вымывшись, Иноземцев переоделся в какое-то, припасенное хозяином, тряпье. Никого, кроме хозяина и хозяйки, в избѣ не было.

Иноземцев глядел на изможденные лица хозяина и хозяйки и ни о чём не спрашивал, — он знал горькую жизнь этих людей под немцем.

Попив чайку, Иноземцев спросил название деревни и попросил хозяина проводить его до леса.

Хозяйка посоветовала гостю остаться до утра, но хозяин довольно сурово оборвал ее:

— Человек сам знает, как для него лучше.

Огородами они вышли к лесной опушке.

— Тут тебе просека будет, лойдешь по просеке... А там — как придется.

— У меня фонарик, — сказал Иноземцев. — Ну, спасибо тебе, дядя. Спасибо за твои заботы. — И добавил полуспутливо, полусерьезно: — Я тебе в пожки должен поклониться.

Он не видел лица хозяина, но услышал в голосе его неожиданную теплоту и ласку:

— Не ты мне, а я тебе должен в ноги поклониться.

Иноземцев нашупал в темноте жесткую ладонь хозяина.

— Будь здоров.

— Будь здоров, — услышал в ответ Иноземцев, — не сказываясь мне, кто ты есть, значит — так

надо. Дай бог тебе и товарищам твоим доброго здоровья и удачи в святом вашем деле.

— Спасибо...

Иноземцев пошел по просеке. Морозный ветер дул ему в лицо, и он почувствовал, как слеза, появившаяся в уголке его глаза, превратилась в колючую льдинку...

«Некий Густав Максимилианович...»

В первые дни каждого месяца на заводе «Первое мая» жизнь текла спокойно и ровно. Программа прошлого месяца была выполнена, завод ставили в пример другим, гордое удовлетворение было в лицах рабочих, инженеров. Эта удовлетворенность и приятная усталость после трудных дней отчасти передались Соне Сосновой. Люди в свободное время приходили в читальню скорее отдохнуть, чем читать.

Соня давно не видела своих знакомых — Шорина, Головина. Девушка, гостья с далекого фронта, зашла к ней еще раз перед отъездом, но не зашла и оставила записку: «Не забывай Женю».

На следующий день после ее отъезда в библиотеку пришел Шорин, поговорил о новостях с фронтов, о новостях на заводе, о том, что в этом месяце заводу безусловно дадут переходящее знамя, и неожиданно спросил:

— Давно видели вашего московского знакомого, Головина?

— Не очень давно. Приглашает к себе, но, откровенно говоря, после странного разговора в рабочем — не хочется идти... Хотя, с другой стороны, как-то жалко его. Потерял близких, живет один. В конце концов — чем он меня обидел?

— А вы бы к нему зашли, — улыбаясь, сказал Шорин.

— Может быть, зайду. Уж очень тоскливо однажды по вечерам.

— Если зайдете сегодня, то при случае, когда будет удобно, спросите его, не знал ли он некоего Густава Максимилиановича Краузе.

— Краузе? Ну, и что же?

— Посмотрите, какой получится эффект... Если спросит, откуда вы знаете эту фамилию, скажите, что слышали ее, как-то вскользь, от Андрея Андреевича... А потом не забудьте позвонить ко мне, по возможности сейчас же после этого разговора. Я буду у себя в кабинете.

Соня внимательно посмотрела на Шорина. Он ответил долгим и серьезным взглядом.

— Я позвоню вам, — сказала она. — Вероятно, это очень важно.

— Важно и нужно, — ответил Шорин.

Около десяти вечера Соня позвонила Шорину.

— Это вы, Соня? Спросили?

— Да. Эффект получился страшный. Я думала, что с ним сердечный приступ. Он побелел весь, посмотрел на меня ужасными глазами и спросил, где я слышала эту фамилию. Я ответила так, как вы мне сказали.

— И что же?

— Он немножко успокоился.

На этом кончился телефонный разговор.

С того вечера никто больше не видел Головкина.

Последняя экспедиция полковника Шнапека

Два события вывели из себя коменданта города Плецка: катастрофа с дрезиной и исчезновение Иноземцева и переводчика Лукса, затем письмо, которое нашли у ворот комендатуры.

Письмо было такое:

«Господин комендант! Вам пишет небезызвестная Тася Пискарева, по которой вы, наверное, скучились. Сообщаю вам, что командир партизанского отряда «За советскую родину» Разгонов жив и здоров, после ранения вернулся из отпуска и принял командование отрядом, о чем вы, наверное, уже догадываетесь. Человек, которого вы приняли за него, был не кто иной, как Баранов, который сам наказал себя такой смертью за измену нашему делу, и его отец, такой же, как он, мерзак. Как будто все. Надеюсь скоро встретиться с вами при других обстоятельствах.

Тася Пискарева.

Шнапек держал в руках это письмо и думал только о том, как это обидно и страшно, если Разгонов действительно жив, и как будет потешаться над ним фон Мангейм.

«Да, все это похоже на правду, — подумал он, — вот оно — византийское коварство русских...»

Но дальнеше события сложились неожиданным образом благоприятно для коменданта. Арестованный на базаре разведчик-партизан показал на допросе, что Разгонов действительно жив, что он недавно появился в заозерных лесах. Шнапек сам вел допрос этого партизана. О том, что происходило на допросе, знал только комендант и близкие ему люди. «Византийское коварство» Таси Пискаревой приводило Шнапека в ярость, и все же

у него был довольный вид после допроса партизана. На этот раз все складывалось так, что он действительно сможет покончить с Разгоновым. Только бы не вмешался этот дегенерат фон Мангейм.

В следующую ночь из города Плецка выступил довольно многочисленный отряд с двумя броневиками. Отряд, продвигаясь по берегу реки, углубился в лес. Впереди шел броневик, за броневиком — колонна грузовиков и в хвосте — еще одна бронемашина. В грузовике, следовавшем за головной бронемашиной, рядом с здоровенным шофером сидел истощенный, замученный человек с забинтованными руками. У этого человека был только один глаз, другой был навсегда закрыт, бровь пересекал старый глубокий шрам. По правую руку одноглазого партизана сидел сам полковник Шнапек. Он не мог не понимать, что экспедиция связана с известным риском. Но надо же было выйти из глупейшего положения, в котором он очутился после чудесного воскресения Разгнова.

Выход был только один: захватить Разгнова и на этот раз покончить с ним навсегда.

Пленному партизану обещана была жизнь. Это был слабосильный, истощенный человек, одноглазый инвалид, который совсем не мог переносить физической боли, его заставили положить руки на раскаленную плиту, и тогда он сказал все, что знал, и согласился на все. Он сообщил, что видел Разгнова еще вчера ночью, на территории бывшего лесозавода, что с Разгновым было человек тридцать партизан. Эти сведения подтверждала немецкая разведка. Оставалось только захватить партизан врасплох и истребить.

Наступали сумерки. Это немножко смущало Шнэ-

пека, но нельзя было терять ни минуты, — трудно сказать, сколько времени Разгонов останется на территории лесозавода.

Осенняя сырость, резкий ветер несколько охладили пыл коменданта. Броневик шел впереди, держа дистанцию в тридцать метров, поднимая фонтаны грязи. В лесу было еще темнее, чем в открытых местах. Шнапек запретил зажигать фары, чтобы не спугнуть партизан. Глаза почти не различали дороги, ее, в сущности говоря, не было. Но одноглазый, вероятно, видел, как кошка, он первый разглядел пепелище в лесу, развалины, все, что осталось от лесозавода.

Ощущение опасности охватило Шнапека, но самонадеянность пруссака, пренебрежение к противнику пересилили тревогу. За развалинами лесозавода начинался довольно крутой спуск в глубокий овраг. Шнапек был в этих местах год назад, здесь в то время был передний край обороны, он вспомнил, что где-то по ощущению этого леса проходили траншеи, а в самом лесу протекала речка. Он приподнялся с сидения, положил правую ружу с пистолетом на плечо партизана-проводника и хотел уже приказать включить фары, — нельзя же двигаться под гору в эту черную бездну. Лесная речка шумела где-то близко, пахло ржавой осенней листвой — и вдруг послышался оглушительный треск надломившегося дерева, глухой удар, падение чего-то тяжелого, вспыхнули фары грузовика, и на одно мгновение в ослепительном свете мелькнул накренившийся, падающий вместе с деревяшным мостом броневик. Затем прозвучал резкий, сухой выстрел, и шофер грузовика упал грудью на руль. Навалившись на пленника, Шнапек выключил фары и схватился за тормоз, но тут же

почувствовал страшную боль в кисти руки. Пленный партизан впился ему губами в руку, и машина, потеряв управление, понеслась вниз. Земля тронула от оглушительных взрывов гранат. Лес наполнился воплями немцев, грохотом перестрелки, трескотней автоматов, но всего этого уже не видел и не чувствовал Шнапек. Отрокинувшийся грузовик валялся поперек лесной речки, убитый выстрелом в голову шофер, комендант и пленник лежали недвижимые на дне речки в раздавленной кабине...

Шум ночной битвы постепенно затихал... На рассвете среди обломков взорванных машин, среди трупов егерей ходили партизаны, они подбирали оружие. Человек шесть собралось на берегу речки и смотрели, как их товарищи старались приподняться рухнувший в речку, отрокинувшийся грузовик. Из-под раздавленной кабины торчали ноги в жедных щегольских сапогах, по этим сапогам узнавали коменданта города Плещка Шнапека.

Одноглазый партизан был мертв. Тело его положили на плащ-палатку. Люди глядели с уважением на забинтованные руки, на полузакрытый единственный глаз, на согнутую маленькую фигуру человека, который искал и нашел смерть в бою. Эта смерть дорого стоила немцам.

Некто Краузе

В кабинете Шорина, облокотившись на стол, сидел Георгий Иванович Головин. Он молча следил за шагавшим из угла в угол человеком в черном, застегнутом наглухо, пальто. Разговор шел о работе Головина. Он жаловался на прохладное отношение к нему главного инженера, това-

рица Штейла. Комиссия, производившая испытания заменителей цветных металлов, в общем дала положительное заключение, стадия лабораторных работ была кончена. Незнакомый говориц в пальто только один раз вмешался в разговор Головина и Шорина, и по вопросу, с которым он обратился к Головину, видно было, что он — сведущий человек. Головин думал, что этот человек — консультант и Шорин вызвал его, чтобы поговорить о странном отношении главного инженера завода к работе Головина. В тоне Шорина, когда он спрашивал о Штейне, Головину почудилась ирония: «Возможно, — подумал Головин, — затевается что-то вроде склоки, я — тут яблоко раздора и этот человек нужен Шорину как авторитетный эксперт, что ли... Странно только, что я его нигде раньше не видел».

Беспокойство, однако, не проходило, оно началось со вчерашнего вечера, когда эта глупая девушка неожиданно спросила его о Краузе. Странно, что Андрей Андреевич вдруг вспомнил эту фамилию через тридцать пять лет...

— Вы нездоровы? — внезапно спросил Головина Шорин.

— Я? Нет, никаких.

— Мне показалось — у вас болит голова.

— Нет, у меня привычка массировать затылок. Склероз, знаете ли... вообще я чувствую себя хорошо в этом климате... Русского человека мороз крахмит. А сегодня — знаменитый морозец. Градусов тридцать?

— Двадцать восемь... Да, это очень интересно, то, что вы рассказали, — сказал неизвестный, — жалко только, что испытательный период немного затянулся, Густав Максимилианович...

Наступило долгое молчание, слышно было, как жужжит в потолке сильная электрическая лампочка.

Головин вдруг повернулся так резко, что подням затрещал стул:

— Простите... Я ослышался. Как вы изволили сказать?

— Густав Максимилианович.

— Это... ошибка. Вы ошиблись.

— Нет, я не ошибся, — помолчав, сказал неизвестный, — я не мог ошибиться, Густав Максимилианович... Вы всегда были солидным инженером, даже когда служили у фирмы Эрлангер и носили фамилию Краузе.

Опять наступила тишина.

— Вам знакома фамилия Драут, полковник Драут, военный атташе германского посольства в тысяча девятьсот одиннадцатом — тысяча девятьсот четырнадцатом году, в Петербурге?.. Полковник Эрнст Драут, довольно известный в те времена специалист по артиллерийскому вооружению.

— Вы можете найти эту фамилию в энциклопедии Брокгауза и Эфрона. Кажется, вы не раз прибегали к этому источнику? — заметил Шорин.

Тот, кого теперь называли Густавом Максимилиановичем Краузе, сидел, опустив голову, с посеревшим лицом и остановившимся взглядом.

— Ну, так... — почти шепотом произнес он. — Все это догадки, но где факты, где факты?

Неизвестный расстегнул пальто, блеснули пуговицы военного кителя. Он вынул из кармана пальто пожелтевшую от времени газету.

— Это «Новое время», издававшееся Сувориным и закрытое после Февральской революции. В декабре тысяча девятьсот четырнадцатого года в

этой газете было напечатано нечто, касающееся вас, господин Краузе. Помните, Густав Максимилианович, вы подали всеподданнейшую просьбу о перемене фамилии, было это в самом начале войны; в августе тысяча девятьсот четырнадцатого года?

Ответа не последовало.

— В этом номере газеты напечатано: «Густаву Максимилиановичу Краузе высочайше разрешено впредь именоваться Георгием Ивановичем Головиным, по фамилии его отчима»... Впрочем, это ваше личное дело, не правда ли?

Краузе нашел в себе силы кивнуть головой.

— Но ваши давнишние отношения с военным атташе германского посольства полковником Драут, в Петербурге, между тысяча девятьсот одиннадцатым и тысяча девятьсот четырнадцатым годом, — это уже дело, касающееся не только лично вас...

Подполковник Смирнов продолжал, не сводя глаз с Густава Краузе:

— Вы старый, матерый волк, Густав Максимилианович... Вы шпионили в пользу Германии, в конце тысяча девятьсот шестнадцатого года вы были арестованы по подозрению в шпионаже и высланы в Сибирь, — не поэтому ли вы называете себя сибиряком?.. В конце тысяча девятьсот восемнадцатого года вы появились в Москве под фамилией Головин, а после тысяча девятьсот двадцать второго года возобновили сношения с германским посольством как старый и опытный шпион... Семья ваша находится в Риге, что вам отлично известно, историю с гибелю членов вашей семьи вы придумали, чтобы вызвать к себе сочувствие... Одну минуту, Густав Максимилианович...

Смирнов взял со стола лежавший в папке документ.

— Вот рекомендация, вернее — рекомендательное письмо профессора Хлебникова. Письмо учёного с именем, который знает вас по работе, — солидная рекомендация, не правда ли?

Смирнов приблизил письмо Хлебникова к свету:

— Есть в этом документе одна деталь, которая заставляет нас рассматривать этот документ, как нечто усугубляющее ваше преступление. Характерная деталь. Профессор Хлебников, честнейший человек, щепетильный в такого рода вопросах, пишет абсолютно точно: «Инженер Головин известен мне по работе в 1927, 1929 году на Новоспасском заводе и в Москве...»

— Я хорошо работал... Никто не может сказать, что я плохо работал в те годы.

— Верю. Было бы глупо, если бы вы плохо работали, — вас бы уволили, и вы потеряли бы возможность верой и правдой служить вашим хозяевам в германском генеральном штабе. Но погодите, Густав Максимилианович! Что вы делаете с рекомендательным письмом Хлебникова, которое в сущности только устанавливает факт вашей работы на Новоспасском заводе в тысяча девятьсот двадцать седьмом году и в Москве, в управлении, в тысяча девятьсот двадцать девятом году. Перед нами этот документ. К нашему изумлению, мы читаем: «Инженер Головин известен мне по работе в тысяча девятьсот двадцать седьмом — тысяча девятьсот тридцать девятом году на Новоспасском заводе и в Москве». Получается так, что Хлебников знает вас двенадцать лет по работе. Двенадцать лет — солиднейший стаж, двенадцать лет работы на глазах у профес-

сора Хлебникова в Москве и в Новоспасске! Разве это писал Хлебников? Приглядитесь к этому документу, возьмите лупу или, лучше, увеличенный фотоснимок с письма Хлебникова. На снимке ясно видно, что запятая между цифрами «тысяча девятьсот двадцать семь» и «тысяча девятьсот двадцать девять» исчезла, вместо нее появилось тире, «тысяча девятьсот двадцать девять» превратилось в «тысяча девятьсот тридцать девять», то есть двойку вы превратили в тройку. Две довольно аккуратно сделанных подчистки, и получилось так, что профессор Хлебников знает вас по работе не больше не меньше, как двадцать лет. Это придает еще больший вес даже такому солидному инженеру, как вы, Густав Максимилианович. Пока все, Густав Максимилианович. Мы с вами еще увидимся — и не раз. Вы, кажется, любите говорить пословицами. «Нашла коса на камень», как говорится... Встаньте! — сурово и жестко приказал подполковник и, толкнув рукой дверь, пропустил вперед Густава Максимилиановича Краузе, двадцать девять лет носившего маску русского инженера Головина.

Из показаний Густава Максимилиановича Краузе

«... в сентябре 1941 года я выехал в командировку в город Плецк, где находилась в дачной местности моя семья. Приехал в Плецк, я не имел ни малейшего желания возвратиться в Москву, где я прожил почти безвыездно с 1918 года. Я полагал, что мне придется эвакуироваться из Москвы в принудительном порядке на восток, это меня не устраивало, так как в этом случае я бы не имел

возможности встретиться с моими соотечественниками — немцами. В Плецке я дождался немцев, но получилось не то, что я ожидал, я очутился в лагере для военнопленных и гражданского населения, и мне не скоро удалось добиться того, чтобы меня выслушал кто-нибудь из старших офицеров германской армии. Ефрейторы, с которыми пришлось иметь дело, были грубые и тупые люди. К тому же я заболел малярией и находился в тяжелом состоянии. Мне удалось написать записку коменданту Плецка, полковнику Шнапеку, он ~~знал~~, кто я, и приехал в лагерь. И тогда все изменилось.

...человек, с которым я имел свидание на вокзале в Плецке, был в чине генерала войск СС, он беседовал со мной, и моя судьба была решена. Я был направлен в Белополье, очутился в бараке, где лежали тяжело больные, в том числе и сыпнотифозные. Когда советские войска вошли в Белополье, к нам, тяжело больным, отнеслись хорошо, у меня была высокая температура — припадок малярии, но я сказал, что я болен тифом, и мне удалось ночью, обманув сестер и врачебный персонал, скрыться. Из Белополья я попал в село Веселое, где немцы никогда не были; оттуда я проник в зону Москвы и пешком миновал заставу. Здесь никто не знал моих злоключений, я, объяснив, что заболел тифом в командировке, опять устроился в Глазке, где со мной работали люди, знающие меня много лет.

...По заданию, которое я получил от группенфюрера Глогау, мне надлежало отправиться в город Зауральск и связаться с некоим Томашевичем, работавшим на заводе «Первое мая». О том, как я с ним связался, вам известно.

... раздумывая над тем, как я попался. я пришел к такому заключению: у меня не было уверенности в моих поступках и действиях, у меня не было никакого желания работать, как это было в прежнюю войну. Стало гораздо труднее и опаснее работать, я не обладал нужным мужеством и смелостью, все время боялся за свою жизнь. Был случай, когда мне удалось попасть в цех «К», я мог бы взорвать цех ценой собственной жизни, но у меня нехватило на это мужества. Когда для меня стало ясно, что вы раскрыли то, что было 29 лет назад, что вы знаете мою настоящую фамилию, я пришел к заключению, что молчать бесполезно. Добавить к этому я ничего не могу».

О чем не знал группенфюрер фон Малгейм

Когда наши домороденные стратеги отмечали в своих картах линию фронта и доходили до этого участка, то разочарованно говорили:

— А здесь — как два года назад.

Это была сущая правда. Два года стояли друг против друга наши дивизии и отборное гитлеровское войско. Не было продвижения войск в этих болотах, а если и было, то не более чем на пятьсот метров к востоку или западу. Нетерпеливые стратеги не знали, что война в этих болотах и топях была ни с чем несравнимая война. На этом участке фронта нельзя было рыть траншей и окопов, люди жили на плотах, на сваях и передвигались по деревянным мосткам. Передний край представлял невиданную картину.

Офицер или боец, прибывшие впервые на этот участок фронта, видели перед собой вал толщиной

в полтора-два метра и проволоку на валу. Сквозь амбразуры в этом валу, а также из двухъярусных дзотов должен хлынуть ливень раскаленного свинца. Впереди вала лежали минные поля, открытые простреливаемые площадки, проволочные заграждения, имевшие романтическое название «испанский есадник», проволочные заграждения, называемые «спираль Бруно», и опять мины, на этот раз противотанковые, — и, наконец, «ничья» земля. Здесь местами рос бурьян, высотой в человеческий рост, здесь охотились «снайперы», подползали к вражескому сторожевому охранению разведчики. Летом над болотами носились тучи комаров. Немцам казалось, что они крепко засели в этих болотах. Через два года у них появилась уверенность в том, что ни они, ни русские не смогут продвинуться вперед на этом участке фронта.

Перед рассветом в одну осеннюю ночь начались боевые действия.

Полтора часа по каждому квадратному километру немецких позиций били двести орудий. Старые солдаты, участники прошлой войны, ветераны, которым доводилось быть под Двинском и в Брусиловском наступлении, в изумлении покачивали головами, когда над ними проносились тысячи снарядов, когда перед ними вставала до облаков стена огня и дыма и на их глазах лес обнажался и горел, — от столетних елей оставались расщепленные, обугленные стволы.

После этого извержения раскаленного металла и землетрясения началась атака, а через два часа фронт, о котором немцы говорили, что он будет стабильным до конца войны, был прорван на двадцать километров в глубину.

Когда весть об этом дошла до города Плецк².

элегантная машина группенфюрера фон Мангейма в тот же день оставила Плецк и свернула на знаменитую, построенную русским инженером Иноzemцевым дорогу, которую в немецком штабе называли «дорогой наступления» и которая оказалась для немцев дорогой гибели. В сорок минут «Оппель» пролетел расстояние до лагеря и моста, где возвышалась украшенная зелеными еловыми ветками арка. Фон Мангейм всматривался в сумеречную дымку впереди и увидел человека с флагштоком, стоявшего на мосту. В первое мгновение он хотел отдать приказ шоферу ехать прямо на человека, но что-то показалось группенфюреру знакомым в его силуэте и он велел замедлить скорость. Машина остановилась. Человек бросил флагшток и подошел к машине. Группенфюрер фон Мангейм воскликнул:

— Боже мой! Иноzemцев!

Иноzemцев улыбнулся, открыл дверцу «Оппеля» и помог фон Мангейму выйти.

— Что это значит? — в изумлении произнес фон Мангейм.

Правая рука Иноzemцева была опущена. Продолжая улыбаться, он поднял руку, и фон Мангейм увидел дуло маузера.

— Молчать! — сказал Иноzemцев. — Я — Раагонов. На этом кончился их последний разговор.

Группенфюрер фон Мангейм не знал, что в тот час, когда русские прорвали немецкие линии, произошло восстание в лагере строительных рабочих. У них, неизвестно откуда, появилось оружие, истрадавшиеся, изголодавшиеся люди с такой яростью кинулись на охранную полицию, жандармерию и их наемников, что те были перебиты в первые же минуты схватки.

Группенфюрер фон Мангейм, один из первых бежавших из города Плецк, не знал, что дорожные рабочие и партизаны уже сутки держали в своих руках дорогу важнейшего стратегического значения. В ту ночь и на следующий день они отбили одиннадцать немецких атак, не отдали дорогу и дождались того радостного часа, когда увидели первый танк, танк, на котором была надпись «Козьма Минин». По этой выстроенной русскими пленными дороге, стоявшей им пота и крови, прошли в тыл немцам наши танки и кавалеристы-гвардейцы, расширяя и углубляя прорыв, открывая краинным войскам широкий путь на северо-запад, к водам Балтики.

За это славное дело был награжден самой высокой наградой советского воина командир объединенных партизанских отрядов, легендарный народный герой Разгонов.

Вопросы и ответы

Соня Соснова получила странную телеграмму от Андрея Андреевича. В ней было только три слова: «Приезжайте немедленно. Хлебников».

Телеграмма очень обеспокоила Соню. Что случилось: ее заболел ли одинокий старик, не умирает ли он? Тут же у нее мелькнула мысль: отпустят ли ее, только три месяца назад она ездила в Москву. И, прежде чем ити к своему начальнику, она решила посоветоваться с Шориным. У Шорина был озабоченный вид, и Соня понимала его душевное состояние: в городе ходили странные слухи, будто на заводе поймали шайку шпионов-диверсантов, — должно быть, в этих слухах была доля правды. Соню удивило, что Головин уехал

в Москву, не простившись с ней, не сказав ей ни слова о том, что собирается уезжать. Может быть, и этот внезапный отъезд имел связь с толпами, которые ходили по городу. Об этом она решилась спросить Шорина.

— Да, самая непосредственная связь, — сумрачно сказал он. — я могу вам сказать, что ваш московский знакомый... — он умолк и, немного подумав, продолжал: — Помните, я с вами говорил о шестом чувстве, о настороженности, которая вдруг возникает, когда встречаешь недруга, мягко говоря... Когда я в первый раз заговорил с Головиным, у меня почти не было такого чувства, он хорошо играл роль добродушного обывателя, солидного инженера, а главное — русского человека с душой нараспашку...

— То есть почему же «играл роль»?

— Это я вам скажу после... Подозрения по отношению к нему возникли у меня вот почему: крупные инженеры с таким стажем всегда были известные стране люди. После того, как я прочел автобиографию Головина, я просто из любопытства заглянул в толстейшие справочники «Вся Москва» за девяносто девятый — девяносто тринадцатый год. В справочниках за эти годы я не нашел инженера Головина, но я нашел эту фамилию в справочнике за тысячу девятьсот пятнадцатый год: он служил в фирме Эрлангер, фирма была немецкая, и во время войны не раз поднимался вопрос о ее ликвидации. Я спросил Головина на всякий случай: «Вы работали у Густава Листа?..» Вы меня спросите — почему я называл эту фирму, а не фирму Эрлангера. Расчет был простой — если это человек правдивый, он меня поправит и скажет: «Нет, я не служил у Густава Листа, я служил

у. Эрлангера». Он ответил с некоторой обидой: «Что вы! Я никогда не служил в немецких фирмах». И, как вы видите сами, он солгал, солгал он и в автобиографии, рассчитывая, что проверить его будет трудно, все-таки прошло двадцать девять лет. После этого были приняты некоторые меры предосторожности. Он был допущен в цех, но то, что он там искал, было предусмотрительно убрано.

— Но у нас война с немцами, он мог опасаться сказать правду. Это могло вызвать... ну, как бы сказать... подозрения.

— Я так и понял. Меня смущило другое обстоятельство: нигде, ни в одном справочнике до тысяча девятьсот пятнадцатого года я не встречал фамилии инженера Головина, между тем он окончил институт в тысяча девятьсот девятом году, — так сказано в автобиографии. Где же он работал почти шесть лет? Но но в этом дело.

— А в чем?

— Он не мог объяснить, почему он выбрал наш завод, завод «Первое мая». Цветные металлы в нашем деле применяются в небольшом количестве, ему интереснее было бы работать на авиационном заводе. И он имел эту возможность. Менять Москву на Зауралье мог только человек, заинтересованный в нашем заводе, именно в нашем заводе. То, что мы сейчас выпускаем, интересует наших врагов. Я внимательно изучил анкету и все документы Головина и не без труда обнаружил подпись в рекомендательном письме Андрея Андреевича Хлебникова.

Соня молчала, не сводя глаз с Шорина.

— Тогда я решил заняться господином Головиным вплотную. Мне показалось странным, что, по-

его словам, при эвакуации погибла вся его семья — жена, дочь и свояченица...

— Свояченица?

— Да. Свояченица: Это вас удивляет?

— Помните, я рассказывала вам о нашем разговоре с ним в вагоне, — когда он сделал мне странное предложение переехать к нему и хотел выдать меня за свою свояченицу.

— Ну да, теперь это понятно. Я стал интересоваться личностью Головина. Мне надо было выяснить его связи, его привычки, его интересы, его вкусы, чем он дышит, что думает и что читает. Прежде всего — о его связях. Ни с кем, кроме вас, он не поддерживал знакомства. Ну, здесь я выяснил все, и вы мне помогли. Интересы его были самые обычательские. Мне показалось странным одно — почему он облюбовал читальню для своей, так сказать, побочной работы. Я стал интересоваться тем, что он там делает, что читает... Мне удалось открыть самое главное: я обнаружил в двадцать втором томе энциклопедии Брокгауз-Эфрон на странице семьсот восемьдесят пятой подчеркнутые карандашом цифры. Это сделал он, это был шифр. Я списал цифры, их расшифровали. Это были, так сказать, позывные его сообщнику. С вашей помощью и с помощью Шуры Бугровой я выяснил, кто этот сообщник. Дальше все вам, надеюсь, ясно. Он общался со своим сообщником посредством шифра, пользуясь заранее условленной книгой.

— Кто же он оказался? — бледнея, спросила Соня.

— Настоящая его фамилия — Краузе, Густав Максимилианович, он переменил эту фамилию в тысяча девятьсот четырнадцатом году на фамилию

Головин. Он — немецкий шпион с тридцатитрехлетним стажем. Теперь для вас все ясно? И вот результат — поединок с немцем, который сидит за несколько тысяч километров, где-нибудь в Шарлоттенбурге, кончился поражением немца... Оставим эту тему, она вас, я вижу, волновала. Говорят, вы едете в Москву. Ваш начальник получил телеграмму Андрея Андреевича.

— Я этого не знала.

— Как же. Есть резолюция о предоставлении вам трехнедельного отпуска, но мне почему-то кажется, что отпуск затягивается... Бряд ли вы к нам вернетесь.

— Почему вы так думаете?

Шорин лукаво улыбнулся.

Вместо эпилога

Вышло так, что на следующий день после этого разговора Соня не только получила отпуск на три недели, но оказалась в «Дугласе», который вылетел в восьмом часу утра в Москву. В «Дугласе», кроме Сони, были два незнакомых инженера и подполковник с седеющими висками, очень общительный и веселый собеседник, который оказался знакомым Шорина. Именно он, по просьбе Шорина, помог Соне получить место в самолете. Разговаривать в самолете было трудно из-за трохота мотора, но все же у Сони возник довольно оживленный разговор с подполковником. Когда Соня рассказала, что ее вызвал в Москву профессор Хлебников, у подполковника появилось в лице тоже странное, лукавое выражение, которое было у Шорина, когда она говорила ему о вызове в Москву.

Восемь часов спустя Соня была в Москве, на аэродроме. Волнение охватило ее, когда она увидала под крылом самолета прямые аллеи Ленинградского шоссе, вышкипподрома и серый овальный лепесток стадиона «Динамо».

Она вбежала в вестибюль метро, проехала несколько станций и вышла у библиотеки Ленина. Она не заметила, как очутилась у дома, где жил Андрей Андреевич. Она вбежала по темной лестнице до шестого этажа и позвонила.

В коридоре послышались чьи-то быстрые и очень уверенные шаги. Дверь открылась, в коридоре было темно, и вдруг Соня почувствовала знакомые сильные объятия, знакомые милые губы искали ее губ. Она закричала от неожиданности и счастья и упала на грудь единственного человека, которого любила, кому была верна даже тогда, когда считала его мертвым.

Обнявшись, они вошли в кабинет Андрея Андреевича. Он сидел доволыный, помолодевший, улыбающийся и долго не произносил ни слова, чтобы не мешать их беседе. Женя рассказал Соне, что он видел ее одно мгновение в окне, когда, не выдержав, по-мальчишески бросил камешек в окошко, потом рассказал, как звонил отцу, чтобы услышать его голос.

Ни одна душа не должна была знать, что он в Москве, ни одна душа (кроме людей, которые были его начальниками) не знала, что Евгений Андреевич Хлебников это и есть...

Он не досказал, потому что в соседней комнате зазвонил телефон и дверь кабинета открылась. Вшла девушка в военной форме, та самая, которую Соня знала по встрече в Зауральске.

— Товарища Разгонова к телефону,— сказала Тася Пискарева.

Соня, широко раскрыв глаза, посмотрела на Женю и только теперь увидела на его груди, на скромной гимнастерке, золотую звезду — символ бесстрашения, славы и верности родине.

— Это ты! — вскрикнула Соня, заплакала и засмеялась.

И Андрей Андреевич тоже вытер платком глаза. Он думал о том, какие суровые испытания выпали на долю этого поколения и как мужественно и благородно показала себя в неслыханных испытаниях эта славная молодежь.

Москва. Октябрь 1943—февраль 1944 г.

Секретная

ОГЛАВЛЕНИЕ

Посмертное письмо	3
«Ни пуха, ни пера»	10
Игра начинается	14
Немец и русские	17
Старый знакомый	22
Новый бургомистр	27
Полезные знакомства	31
«Иван Грозный»	35
Легкомысленный попутчик	38
Русский и немцы	41
Две тысячи пятьсот километров к востоку	48
Утро в селе Тучково	52
Однажды вечером	60
Разговор за самогоном	68
Гибкие места	72
Странное любопытство	78
Цена жизни	80
О чем куковала кукушка	88
«В гостиной без огней»	85
Новые действующие лица	88
«Кажется, назревают события...»	95
Подполковник Смирнов	102
«Главное — помни его...»	105

Уравнение с одним неизвестным	108
Конец одной карьеры	110
События в разгаре	113
«Некий Густав Максимилианович...»	120
Последняя экспедиция полковника Шнапека	122
Некто Краузе	125
Из показаний Густава Максимилиановича Краузе	130
О чем не знал группенфюрер фон Мангейм	132
Вопросы и ответы	135
Вместо эпилога.	139



Редактор A. Митрофанов

A7858

Подписано к печати 17/V 1941 г. Печ.
л. 4¹/₂. Авт. л. 57. уч.-изд. л. 5,92.
Тираж 15.000. Заказ 563.

Цена 3 руб

Тип. "Красный Печатник", Москва,
ул. 25 Октября, 5.

3 pyg.

21